ВЕРА ЗАСУЛИЧ

ВОСПОМИНАНИЯ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТКАТОРЖАН
1931

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ОБЩЕСТВА
КАТОРЖАН

ВЕРА ЗАСУЛИЧ

ВОСПОМИНАНИЯ

ПОДГОТОВИЛ К ПЕЧАТИ
Б. П. КОЗЬМИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ
19 МОСКВА 31

Уполномоченный Главлита В 2389 10 п. л. Тираж 5.000 экз.

Типо-литография им. Воровского, ул. Дзержинского, 18. 6818

ОТ РЕДАКЦИИ

От народничества — до марксизма. От скромных малолюдных революционных кружков, создававшихся в подполье мелкобуржуазной интеллигенцией в конце 60-х годов прошлого века,— до массовой рабочей партии. Таков был длинный революционный путь, пройденный В. И. Засулич, одной из замечательнейших в истории русского революционного движения женщин. На этом пути ей приходилось встречаться с крупнейшими людьми нашего революционного прошлого,— от Нечаева до Ленина. Ряд переломных моментов в истории этого прошлого связан с ее именем. Ее выстрел в Трепова, потрясший в 1878 г. все русское общество и сделавший ее имя всемирно известным, знаменовал собою начало перехода русского революционного народничества от пропаганды к террору. В расколе этого народничества на два лагеря — на «Черный Передел» и «Народную Волю» — В. И. Засулич непосредственного участия принимать не могла, так как к этому времени она находилась уже не в России, а за границей, в эмиграции; однако, В. И. не осталась равнодушной зрительницей событий: узнав о расколе, она спешит примкнуть к «Черному Переделу». Немного времени спустя она, вместе со своими товарищами по «Черному Переделу»: Плехановым, Аксельродом, Дейчем и Игнатовым, организует группу «Освобождение Труда», положившую начало новому направлению нашей революционной мысли и практики — русскому марксизму. Когда в самом начале 1900-х годов началась борьба против экономизма, временно завоевавшего себе господство в рядах русской социал-демократии, мы находим В. И. Засулич, вместе с Плехановым и Лениным, в редакции «Искры», вынесшей на себе всю тяжесть начавшейся борьбы. В последующем расколе социал-демократии на две фракции, — большинство и меньшинство, — и в той

борьбе, которую они так долго и так упорно вели между собою, В. И. Засулич, примкнувшая к меньшевизму, являлась деятельной участницей. Крепко связавшая себя с меньшевизмом и скатившаяся к ликвидаторству и социал-патриотизму, В. И. Засулич, доживши до великих Октябрьских дней, враждебно отнеслась к победе русского пролетариата и к завоеванию им государственной власти. Она оказалась неспособной понять великое историческое значение этого переворота.

Человек, прошедший такой длинный и интересный жизненный путь, как В. И. Засулич, и подобно ей постоянно находившийся в центре крупнейших исторических событий,— много мог бы рассказать о том, чем он был свидетелем, и о тех людях, с которыми ему пришлось встречаться. Друзья В. И. неоднократно пытались убедить ее приняться за писание воспоминаний. Однако, В. И., придерживавшаяся слишком скромного мнения о своем литературном таланте, не соглашалась исполнить просьбу своих друзей. Правда, под конец жизни она взялась за перо и начала писать автобиографию, но вскоре почему то бросила эту работу, оставив нам лишь ряд незаконченных и несвязанных хронологически между собою набросков. Помимо этих недоработанных отрывков, в литературном наследии, оставленном нам В. И. Засулич, мы находим несколько статей, посвященных нашему революционному прошлому и написанных главным образом на основании ее личных воспоминаний. Эти статьи по богатству заключающегося в них исторического материала до сих пор сохраняют свое значение. Разбросанные по различным сборникам и журналам, частью малодоступным в настоящее время читателям, эти статьи вполне заслуживают переиздания. Настоящая книжка, заключающая в себе все написанное В. И. Засулич по истории нашего революционного движения *) должна облегчить читателям ознакомление с этой частью ее литературного наследства.

В эту книгу входят прежде всего те автобиографические наброски В. И. Засулич, о которых упоминалось выше и ко-

*) В настоящее издание не включена полемическая заметка В. И. Засулич «Правдивый исследователь старины», опубликованная в 1918 г. в № 13 «Былого». Заметка эта, написанная в защиту Ян. Стефановича от обвинений в неблаговидном поведении после ареста (составление для департамента полиции записки о революционном движении, выдача Ю. Богдановича и т. д.), в настоящее время, — после опубликования архивных документов, вполне подтвердивших падавшие на Стефановича обвинения, утратила значение.

торые впервые были опубликованы в 1919 г. в № 14 «Былого». В виду того, что эти наброски не связаны тематически между собою и охватывают ряд совершенно различных и разновременных событий, в настоящем издании они разделены на четыре части: 1) Детство и юность, 2) Воспоминания о С. Г. Нечаеве, 3) Из воспоминаний о покушении на Трепова и 4) Владимир Дегаев. Кроме того, в настоящую книгу вошли следующие, написанные в различное время статьи В. И. Засулич: «Нечаевское дело» (опубликовано первоначально в № 2 сборн. «Группа «Освобождение Труда»), «Д. А. Клеменц» (журнал «Наша Заря», 1914 г., № 2), «Сергей Михайлович Кравчинский (Степняк)» («Работник», 1896 г. №№ 1 и 2, Женева) и «Вольное Слово» и эмиграция» («Современник», 1913 г. № 6).

Детство и юность.

1909 г. Лето.

Достала перевод романа Уэльса. Так как давно не читала по-английски, то для упражнения, кроме заказанного романа[1], купила еще несколько книжек того же автора. Увезла их в свою избу на хутор Греково[2]. Сидела под вечер у себя на крыльце и читала „The time machine" («Машина времени»). Солнце за рощей должно быть совсем зашло, темно читать; положила я книгу, села на машину и поехала в прошлое. Нет, здесь неинтересно, — близкое прошлое совсем неинтересно, в более далеком поднимутся леса зеленые, дремучие, но и только. Вот, если в Бяколове[3]... И мгновенно из-под Тулы я перенесла машину в Гжатский уезд, в помещичью усадьбу, и уехала на пятьдесят лет в прошлое, — последний год жизни старого дома; его перестроили как раз накануне освобождения. Вокруг меня тогдашнее Бяколово со всеми красками, звуками, со всеми его обитателями: Мимина[4], дети, собаки, кошки... У меня всегда была плохая память на имена, но никогда не забывала я и теперь помню, как звали всех многочисленных собак и[5]...

Она[6] в самом начале XIX века воспитывалась в Сиротском институте. Попала туда, кажется, с самого рождения, никакой семьи, во всяком случае, у нее никогда не было. Всю жизнь прожила она в чужих богатых домах, воспитывала чужих детей. Я была первым ребенком, отданным в ее полное распоряжение, существовавшим, — в Бяколове, по крайней мере,—специально для нее. Еще до моего рождения[7] она уже лет 10 — 12 прожила в Бяколове, воспитывала теток и дядю. Когда умер их отец, — мать умерла еще раньше, — старшей тетке было лет 20, самой меньшей — 14, дяде — 16.

Мимина была нужна, — этого декорум требовал, а она поставила условием, чтобы в доме был ребенок. Воспитание

Луло (меньшая тетка) кончается, а она не может оставаться без дела. Таким образом я попала в Бяколово [8].

Взялась она за меня, должно быть, очень ретиво.

Я рано помню себя, но не помню, когда училась читать и писать по-русски и по-французски; понимать по французски я тоже начала с незапамятного для меня времени. Говорили, что обучить меня всему этому и нескольким стихотворениям в прибавку, а также — молитвам, она ухитрилась, когда мне было три года.

Розги в Бяколове были не в употреблении, — я не слыхала, чтобы там кого-нибудь секли, а я, — говорили, — была в то время очень мила и забавна, а испортилась позднее. Секла она меня, должно быть, просто для усовершенствования, слегка. Я не помню ощущения боли, но помню, что операция должна была производиться в бане на лавке. Меня на эту лавку укладывают, а я изо всех сил подвигаюсь к краю и свертываюсь вниз, а меня опять укладывают, и так без конца.

Одна из теток вышла замуж, пошли свои дети, — бяколовцы. Ни в Мимине, ни во мне с ней вместе надобности уже не было, тогда, должно быть, я и испортилась.

Мимина, возможно, любила меня по своему, но тяжелая это была любовь. Вдвоем со мною она все что-то говорила, говорила по-французски, по большей части, что-то тяжелое, неприятное, иногда страшное. Если я норовила отойти от нее, она возвращала меня на место. Когда она говорит со мной, она исполняет свой долг, а мой долг — слушать, пользоваться ее наставлениями, пока она жива. Скучное я пропускала мимо ушей, но страшное запоминалось. «Тебе хочется убежать; пожалеешь, когда я умру. Захочешь тогда увидеть Миминочку, придешь на кладбище: ручей, две-три березы, да еще искренние слезы — вот монументов красата, — других мне не нужно. Придешь, увидишь трещину в земле, заглянешь в нее, а из земли на тебя взглянет нечто отвратительное, ужасное: череп с оскаленными зубами, а Миминочку уж не увидишь».

Часто вместо нотаций она говорила стихи: «Где стол был яств, там гроб стоит... Надгробные там воют лики» [9]. По-своему, для того времени, она была очень образована. Даже стихи иногда сочиняла. Гроба я никогда не видала, но знала, что страшный, длинный, а над ним рисовало воображение — «лики» одни, без туловищ, темно-красные, с разинутыми ртами и воют «ууу». К страшному я причисляла и оду

«Бог», которую она так часто декламировала, что невольно лет 6-ти я знала ее наизусть, запомнив из нее отрывки, и ночью, если я не успевала заснуть прежде, чем захрапит Мимина, этот мудреный бог «пространством бесконечный — без лиц в трех лицах божества», вместе с черепом, «ликами» и другими страхами, против воли повторялся в голове и мешал мне заснуть.

В том же роде знала она и французские стихи: «O, toi, qui deroula tous les cieux, comme un livre»; потом я открыла, что это стихи Вольтера. Сомневаюсь, знала ли она, что это его стихи. Что на свете есть безбожники, вольтерьянцы, это я от нее тогда еще слыхала. Тогда она переживала, вероятно, трудное время: из сравнительно почетного положения (я еще помню, когда кушанья за столом начинали обносить с нее), она чувствовала, должно быть, что спускается постепенно в положение ниже гувернантки, — в положение приживалки.

Ей было под 60, глаза слабы, так толста, что, при маленьком росте, была почти шарообразна. Поздно искать нового места, а поговорить об этом было не с кем, кроме меня. Приживалка до самой смерти. Подумывала, вероятно, о смерти, хотя недолго, — прожила еще лет 35, — в конце 80-х годов была жива.

Любовь, вероятно, выражалась и в том, что она не хотела, чтобы я любила теток. Она не раз с чувством говорила мне: «мы здесь чужие, нас никто не пожалеет». Я живо помню, что именно такие речи меня сильно огорчали, с этим я мириться не хотела, не хотела быть чужой. Помню даже, что вела упорную войну с мальчиком, казачком, который, высунув голову из передней, усиленно шептал; если кто-нибудь из старших оглядывался, голова быстро исчезала, чтобы опять появиться. Не слышно было ничего, только видно, что он шепчет: «Верочка Засулич», и также шепотом я с озлоблением возражала в рифму: «неправда, — Микулич, Микулич!».

Но чем дальше, тем большее множество вещей твердило мне, что я чужая — не бяколовская. Никто никогда не ласкал меня, не целовал, не сажал на колени, не называл ласковыми именами. Прислуга, при малейшей досаде на меня не[10]...

Лет 11 должно быть мне было, когда в Бяколове, в первый раз появилось евангелие, — новенькая книга, без не-

реплета и даже не разрезана. Была, вероятно, и прежде, но по-славянски, и ее никто не читал. Теперь, великим постом, я каждый день должна была прочитывать вслух (слушали все тетки, Мимина, дети и даже няньки) по главе или по странице — уж я не помню, но только так, что в первый день читалась глава из одного евангелия, затем из второго, третьего, четвертого, а на пятый опять возвращались к первому, с таким рассчетом, чтобы главы, начиная с тайной вечери, остались на последние дни страстной недели.

До этого на содержание религии я не обращала внимания, не думала о ней. Доставляла она мне изредка удовольствие, а больше скуку. Нескольким коротким молитвам Мимина меня еще трех лет выучила, потом прибавилось несколько других подлиннее. Мое дело было дважды в день протрещать их перед образом, как можно быстрее.

К семи годам (к первой исповеди) выучила «Верую» и знала краткую священную историю в вопросах и ответах, при этом — креститься и кланяться, а кончивши, поклониться в землю и убежать. Чуть не половину фраз я в них совсем не понимала и не интересовалась понять. Под праздники у нас часто служили всенощную. Это было довольно скучно, — ничем развлечься не было возможности: наблюдали, чтобы стояли смирно, время от времени крестились. Я обыкновенно с нетерпением ждала чтения евангелия: во-первых, скоро конец, значит, а во-вторых, развлечение. Мы, дети, должны были тогда подойти к священнику. Меньшие впереди, а я сзади. Он всех накрывал епитрахилью, которая и ложилась на мою голову, как самую высокую.

«Пастырь добрый, душу свою полагает за овцы своя, а наемник божий нет». И я видела, как по полю, куда то в темноту, длинными ногами, бежит «наемник», но в чем тут дело, я вовсе не интересовалась. Пока стояла с покрытой головой, мелькал вопрос—в чем тут дело: как пастырь «полагал душу» и куда бежит наемник? Но окончилась всенощная, кончался и интерес. «Больших» я никогда и ни очем не спрашивала: выйдет непременно так, что разбранят. Мимина рада была бы вопросу и ответила бы длинно, но в конце концов «добрым пастырем» оказалась бы она, а я овцой, — это в лучшем случае, а то и «наемником», который всегда готов убежать, когда его учат и хотят ему добра.

Ездить к обедне—это была радость. Церковь за 5 верст, брали не часто, и то только летом. Возили меня и в гости к соседним помещикам, где были дети, ездили и в лес,

но все это после обеда, а в церковь утром. Все выглядит совсем иначе, и солнце, и небо другие, и едешь в нарядном платьице и соломенной шляпке. А в церкви по уголкам иконы, цветные стекла, ладан так красиво окрашивается, попадая в полосу света, и синие, желтые, зеленые пятна и странно перекрашивают платки на головах баб. Там не успеешь соскучиться, как уже поют «иже херувимы». О святой и страстной и говорить нечего — это самое счастливое время в году. Но с богом, с религией—это все-таки в моей голове почти не связывалось в...[11]».

Но собственной воле я твердила: «крест на мне, крест на мне»... когда боялась в темноте; тут Мимины молитвы не годились, а этой меня выучила горничная девочка, которая также боялась и уверяла, что она помогает.

Были и еще случаи, когда я бросалась молиться, но уже своими словами. Это, когда, по моему мнению, меня обвинили, разбранили напрасно: взволнованная в слезах, вся дрожа, я становилась в пустой комнате перед образом и шептала, шептала, всхлипывая.

Я не помню, чтобы ждала я себе от этого какой пользы, не думала я, что бог как-нибудь за меня заступится, это были просто заверения в своей невинности «всеведущему», чуть не упреки: «ведь ты знаешь, ведь ты знаешь!.. Разве я когда?» и т. д.

Раз как-то, помню, попалась: какая-то из теток пошла за мной — должно быть, найдя еще что-то прибавить к нотации, — и застала, что я что-то шепчу перед образом. Если бы я сказала, что именно я шептала, — это, думаю, произвело бы благоприятное для меня впечатление. Но я, конечно, не созналась; на вопрос, что это я шепчу, ответила: «так», и получила, разумеется, добавочную нотацию: «шептать какие-нибудь глупости перед иконой не сметь, к богу следует обращаться только с молитвой».

Начала я вслух читать евангелие с неудовольствием. Сама бы я прочла, — я читала в это время решительно все, что попадалось под руку, — но вслух, при больших... Понемногу, однако, содержание книги начало привлекать меня. Он добрый, хороший. Он сразу совершенно отделился для меня от непонятного, скучного, немного страшного Мимининого бога, для которого надо есть постное, бормотать молитвы. Он добрый, хороший, простым понятным для меня образом, и я ведь знала, что в конце его убьют, с нетерпением и каким-то страхом стала я ждать этих глав. В это же

время в детском журнале, который получали соседние помещики и присылали мне на прочтение, было помещено стихотворение Мея «Слепорожденный». Я его списала и выучила. Оно также слилось с впечатлением евангелия. Все считали слепорожденного самым дурным. «Немало грубых разговоров, намеков, брани и укоров еще ребенком вынес он». А христос его пожалел, подошел к нему и исцелил, и прокаженные были самые печальные, все их от себя гнали. Воскресил девочку, — я в воображении расписывала подробности.

Не знаю, для чего запирала Мимина евангелие в промежутках между чтением, но несомненно, что таким образом книга произвела гораздо большее впечатление, чем если бы я сразу прочла ее. Не с отвлеченным, неведомым богом произошло для меня все это: ночь в Гефсиманском саду, «не спите, час мой близок», просит он учеников, а они спят... и вся эта дальнейшая мучительная история. Я несколько недель жила с ним, воображала его, шептала о нем, оставшись одна в комнате. Всего больше волновало меня, что все, все бежали, покинули, и дети тоже, которые встречали его с пальмовыми ветвями, пели осанна. Они спали, должно быть, и не знали. Я не могла не вмешаться: одна девочка, хорошая, дочь первосвященника, слышала, как говорили, что его схватят, Иуда уже выдал, — будут судить и убьют. Она мне сказала, мы с ней побежали и созвали вмиг детей: «Послушайте только, что они хотят сделать: его, его убить! Ведь лучше его на свете нет». Воображаемые дети соглашались. Понятно, мы бросились бежать по саду, прибегали, но дальше ничего не выходило. Не смела я ничего дальше выдумывать без его дозволения и еще меньше смела говорить за него. Это не страх был, а горячая любовь, благоговение что-ли; я знала, что он бог, — тоже бог, как и его отец, но он гораздо лучше, того я не любила. Молиться христу ни за что бы я не стала. Приставать к нему с моими жалобами! Не его заступничества просить мне хотелось, а служить ему, спасать его.

Года через четыре я уже не верила в бога, и легко рассталась я с этой верой. Жаль было сперва будущей жизни, «вечной жизни» для себя, но жаль только, когда я думала специально о ней, о прекрасном саде на небе. Земля от этого хуже не становилась. Наоборот. Одновременно с этим я определяла свою «будущую жизнь» на земле, и

так она вставала предо мною бесконечная... В 15 лет и один год кажется огромным временем. А то единственное в религии, что врезалось в мое сердце,—христос—с ним я не расставалась; наоборот, как будто связывалась теснее прежнего.

Как началось это приобретение будущей жизни на земле? Постепенно, издавна, черта за чертой складывалась она предо мной, далекая еще, неясная в сияющем тумане, но несомненная для меня. Мне кажется, что лично меня толкало жадно ловить все, что говорило о каком-то будущем, мое отвращение от будущего, которое сулило мне сложившиеся общественные условия, о которых упоминали в Бяколове: гувернантка. Все что угодно, только не это! [12]

Еще до революционных мечтаний, даже до пансиона [13], я строила главные планы, как бы мне избавиться от этого [14]. Мальчику в моем положении было бы, конечно гораздо легче. Для его планов будущего широкий простор...

И вот этот далекий призрак революции сравнял меня с мальчиком: я могла мечтать о «деле», о «подвигах», о «великой борьбе»... «в стане погибающих за великое дело любви». Я жадно ловила все подобные слова в стихах, в старинных песнях: «скорей дадим друг другу руки и будем мы питать до гроба вражду к бичам земли родной», — в стихах иногда и там, быть может, где в мыслях автора было другое, находила у своего любимого Лермонтова и, конечно, у Некрасова [15].

Откуда то попалась мне исповедь Наливайки Рылеева*) и стала одной из главных моих святынь: «известно мне: погибель ждет того, кто» и т. д. И судьба Рылеева была мне известна. И всюду всегда все героическое, вся эта борьба, восстание было связано с гибелью, страданием.

«Есть времена, есть целые века, когда ничто не может быть прекраснее, желаннее тернового венка». Он-то и влек к этому «стану погибающих», вызывал к нему горячую любовь. И несомненно, что эта любовь была сходна с той, которая являлась у меня к христу, когда я в первый раз прочла евангелие. Я не изменила ему: он самый лучший, он и они достаточно хороши, чтобы заслужить терновый ве-

---

*) Мне кажется, она была в первом издании большой трехтомной хрестоматии, по которой мы проходили литературу, — из второго, вышедшего после польского восстания [16], было много выкинуто, отрывок, напр., из «Валленштейна» [17], которого я тоже знала наизусть. Прим. В. Засулич.

нец, и я найду их и постараюсь на что-нибудь пригодиться в их борьбе. Не сочувствие к страданиям народа толкало меня в «стан погибающих». Никаких ужасов крепостного права я не видала, а к бедным я сперва поневоле, с горькой обидой, потом чуть не с гордостью сама себя причисляла, а что пока я живу, как богатая, это я своей бедой, а не привилегией считала...

Ни о каких ужасах крепостного права в Бяколове я не слыхала, — думаю, что их и не было. С деревней, впрочем, господский дом и не имел никаких сношений, кроме праздничных, так сказать. На дворе устраивалось угощение после жатвы. После каждой свадьбы нарядные «молодые» приходили «на поклон», но до хозяйства тетки совершенно не касались. Его вел Капиша, как звали его господа, и Капитон Васильевич, — для дворни и деревни.

Имение было из самих благоустроенных в округе. Большинство крестьян — на оброке, ходили на заработки в Москву, верст за 120 — 130. Главные доходы, кроме оброка, — скотный двор, конский завод, птицы, плодовый сад, оранжереи. Все это до деревни не касалось, а было на руках у дворовых, очень многочисленных; целая улица дворовых изб. Что с дворовыми отношения были недурные, доказательство, что все остались на своих местах[18], и хозяйство неизменилось и ничуть не сократилось; что не было никаких наказаний, это верно. Я знала бы об этом от дворовых ребят и наверное запомнила бы. Быть может, именно вследствие мягкости Капитоновского управления...

Легко рассталась я с Бяколовым. Я не думала тогда, что весь век буду вспоминать его, что никогда не забуду ни одного кустика в палисаднике, ни одного старого шкапа в коридоре, что очертание старых дерев, видных с балкона, будет мне сниться через долгие — долгие годы... Я любила его и тогда, но впереди ждала и манила необ'ятная жизнь, а тут «сон кругом глубокий», и эта вялая жизнь не моя, ведь я на том и помирилась с ней, что согласилась, что я «чужая»...

Этот год, семнадцатый год моей жизни, был полон самой напряженной внутренней работы: я окончательно взяла судьбу в свои руки[19]...

Нечаевское дело.[2]

I.

Каракозовское дело, конечно, займет в истории нашего движения гораздо более [скромное] место, чем нечаевское. [Его] подробная история, быть может, станет известной не раньше, как [документы] III отделения подвергнутся разработке [21].

Это был заговор [дело], тайное не для полиции только, [но и] для окружающих его более [мирных] элементов, на которых стара[лись дей]ствовать члены общества. Ищу[тин у]говорил их в таком роде: наступит великий час, мы люди, обреченные; [этот час] называл прекрасной Фелициной. Судя по рассказам о нем, это был тип революци[онера], умевший разжигать настроение слушателей представ[лением] о чем-то великом и таинственн[ом]. Как кружок, это общество су[ществ]овало с 63 г.; [члены его] обучали в школе, имели 2 ассоциации и сообща уст[роенное] *)общежитие[22]. Во всяком случае, к осени 65 года это были уже заговорщики: члены принимались с клятвами, [и в их] среде успел уже даже обра[зовать]ся раскол [23], более крайние сос[тавля]ли, так сказать, общесто [в общ]естве под названием «Ад»[24]. [Целью его] было, [вернее] шла [в нем речь], об избиении царской фами[лии, при] чем крайние стояли за пред[варите]льную агитацию, пропаганду. [Оно] приговорило 17 чел. [После] выстрела Каракозова полиция [напал]а на след этого заговора.

Система, [как вес]ти себя на следствии, в то время [не] могла даже и начать еще выра[бат]ываться, люди, как видно, по большей части считали нужным на каждый [воп]рос следователей давать более или [ме]нее правдоподобный отвст, лживый, [ко]нечно, кроме нескольких предателей, — [на]шлись и предатели. Начались очные [ст]авки, уличения во

*) Зачеркнуто: «вероятно, задолго до катастрофы».

лжи, давались новые [о]б'яснения: запутались даже такие люди, как сами Худяков, Ишутин; и понемногу все члены [без иск]лючения были открыты [25]: [нелегаль]ность тогда изобрете[на не] была, дожидаясь ареста, [спокой]но оставались на своем [месте]; все были переловлены и [посланы] в Сибирь.

С тех [пор] о [каракозовцах не] было слышно: никто из [них] не выплыл в поздней[шем дви]жении [26], а они только и м[огли] бы подробно рассказать о [своем] деле [27].

В последнее время [поя]вились воспоминания Худя[кова [28], но там подробно рассказано с[лед]ствие, поскольку оно касалось... самого Худякова, о московском тайном общ[естве], из которого вышел Каракозов *), его [он] едва касается. Он говорит, что это были люди энергичные, талантливые, выработанные, но все они [скоро] были изловлены и отправлены в Сибирь; на свободе были [оставл]ены только люди, оказавшиеся, [после] подробнейшего рассмотре[ния] самой муравьевской ко[миссиею] [29], вполне невинными, а, сле[дователь]но, уже действительно [невин]ные. Опыта, традиции внести [в но]вое движение они не могли, [а также не мог]ли составить ядра, вокруг [кот]орого группировались бы но[вые] элементы.

«Что делать» [Чернышевского] продолжало перечитываться молодежью, но самый доступный легко исполнимый из являвшихся прежде вопросов на поставленный в заголовке романа вопрос — заводить ассоциации — уже не удовлетворял **). В предыдущий период ассоциации, по большей части швейные, росли, как грибы [30], но большая часть из них вскоре распадалась, а некоторые кончались третейскими судами, ссорами. Заводились они по большей части женщинами, настолько состоятельными, чтобы купить швейную машинку, нанять квартиру, нанять на первый месяц, пока не будут раз'яснены им принципы ассоциации, двух или трех опытных модисток. В члены набирались частью нигилистки,

---

*) Зачеркнуто: «Говорится очень мало».

**) Увлекались снами Веры Павловны, Рахметовым. Но что же именно делал Рахметов? Что делать для осуществления снов Веры Павловны? Пересоздать существующий строй. Рахметов - революционер. Это говорили, но смысл в такие слова вкладывали самый туманный, самый разнообразный. Был, однако, указан в романе и путь к некоторой подготовке осуществления снов — швейные ассоциации. Вещь, как казалось, очень простая, легкая, доступная каждому, у кого есть деньги на покупку машины и на наем квартиры. Примеч. В. Засулич.

не умевшие шить, но горячо желавшие «делать», частью швеи, желавшие только иметь заработок. В первый месяц сгоряча все шили очень усердно, но более месяца шить по 8 — 10 час. в день ради одной пропаганды примером принципа ассоциации, к тому [же] без привычки к ручному труду, мало у кого хватало терпения. Шить начинали все меньше и меньше *). Мастерицы негодовали и сами начинали небрежно относиться к работе; заказы убывали. Лучшие работницы скоро покидали мастерскую, так как приходившиеся на их долю части дохода оказывались меньше жалованья, которое они получали от хозяина, несмотря на то, что основательницы по большей части отказывались от своей доли. Иногда дело кончалось тем, что мастерицы забирали себе машины и основательниц выгоняли из мастерской. Устраивались третейские суды. «Сами же постоянно твердили, что машина принадлежит труду», — защищалась бойкая мастерица перед таким судом, на котором мне случилось присутствовать. «А уж какой с них был труд, как есть никакого; только, бывало, разговоры разговаривают!» Суд не признал, однако, мастерицу олицетворением «труда» и присудил машинку возвратить [31].

Также плохо шли и переплетные мастерские, хотя там менее сложный и не требующий долгой предварительной подготовки труд был более приспособлен к ассоциации.

В 69 году затишье, наступившее вслед за каракозовщиной, еще продолжалось во всей силе. Из людей 60-х годов иные сошли со сцены, другие куда-то попрятались, и **) зеленой молодежи, под'езжавшей из провинции после погрома, не было к ним доступа. Она оставалась совершенно одна; ей предстояло отыскивать дорогу собственными силами. Каракозовщина не оставила ядра, около которого она могла бы группироваться [32]. Я говорю, конечно, о среднем уровне молодежи, затронутой разыгравшимся зимою 68 — 69 годов в Петербурге пролог[ом] неч[аевского] дела. Такая изолированность молодежи, отсутствие пропаганды в ее среде, отсутствие соприкосновения с людьми сложившегося миросозерцания, могущими помочь***) в разрешении вопроса: «что делать?», — приводило ищущую дела молодежь в тоскливое, тревожное состояние.

*) Зачеркнуто: «К тому же и швеи».
**) Зачеркнуто: «По меньшей мере».
***) Зачеркнуто: «Ответить».

Те надежды, с которыми ехала она в Пет[ербург], оказывались обманутыми. Начало 60-х годов облекло столицы, а в особенности Петербург, в самый яркий ореол. Издали, из провинции, он представлялся лабораторией идей, центром жизни, движенья, деятельности. В провинции между семинаристами и гимназистами седьмого класса, между студентами провинциальных университетов образовывались маленькие группы юнцов, решившихся посвятить себя «делу», как тогда многие выражались вкратце, или даже просто — «революции». А за выяснением, что это за «дело», что за «революция», начинали рваться в Петербург: там все узнаем, там-то выяснится. Дорвавшись, наконец *), предолевши иногда для этого, при крайней бедности большинства **), величайшие затруднения, они являлись в Питер иногда целой группой, человек в 5 — 6, и [начинали] всюду толкаться, знакомиться, расспрашивать, но, натыкаясь [везде], куда [они] могли проникнуть, на ту же шаткость и неопределенность понятий, на те же нерешенные вопросы, на «ерунду», от которой бежали из провинции, они скоро впадали в уныние, тревожное состояние. Но, после яркого, насильственно задавленного движения начала 60-х гг., чувствовалась просто потребность в каком-нибудь проявлении движения, так что, например, фразы: «Хоть бы студенческое движение что ли было!» можно было слышать еще летом, прежде чем студенты с'ехались.

II.

Не знаю, кому первому пришла идея затеять студенческие волнения, вероятно, многим сразу ***) в таких-то кружках, о которых я только [что] говорила, в особенности являвшихся в Петербург на второй год и уже успевших разочароваться в нем, идея студенческих волнений должна б[ыла] встретить живейшее сочувствие. Конечно, это не «дело», не работа для «блага народа», не «революция», но хоть, «что-нибудь», какая-ниб[удь] «жизнь». Уже в начале ****) осени 1868 года *****) во многих студенческих кружках можно б[ыло] слышать, что ******) к рождеству непременно будут

*) Зачеркнуто «До Питера».
**) Зачеркнуто: «Из них».
***) Зачеркнуто: «но несомненно, что».
****) Зачеркнуто: «сент.».
*****) Зачеркнуто: «как только собрались студенты».
******) Зачеркнуто: «в этом году».

студенческие волнения, что будут требовать касс и сходок. Кассам то, собственно, несмотря на крайнюю бедность, придавалось лишь второстепенное значение: добьемся их — хорошо, но если не добьемся — тоже хорошо; сходки привлекательны сами по себе.

Они, действительно, сами по себе, независимо от цели, должны б[ыли] удовлетворить реальную действительную потребность в движении, в общественной жизни. Некоторые инициаторы движения на сходки возлагали и другие, более определенные, надежды: на них ознакомятся между собою лучшие люди из молодежи, образуется и сплотится кружок из наиболее определившихся людей, выдвинутся и выработаются способные деятели *).

Всю осень шла агитация, и в декабре, действительно, начались сходки[33]. Собирались эти сходки на частных квартирах, всегда на разных. Иной раз **), какая нибудь зажиточная семья предоставляла по знакомству в распоряжение ***) инициатора сходки свою залу, в которую и набивалось битком 2-3 сотни студентов. Иногда собирались и на студенческих квартирах, и тогда сходка разбивалась на две-три группы по числу комнат, так как в одной всем уместиться б[ыло] невозможно. Всем приходилось, конечно, стоять, и теснота бывала обыкновенно страшная. На Рождестве сходки особенно участились ****). Собирались студенты из университета и из *****) технологического института, но самый большой процент сотсавляли медики[34]. На сходки ходило также человек 10 — 15 женщин; женских курсов в то время не было, приходили просто женщины, сочувствовавшие движению студентов[35].

На самых больших и удачных сходках ораторы обыкновенно влезали поочередно на стул и оттуда произносили свои речи, вертевшиеся на первых порах на необходимости для студентов иметь кассы и право сходок. Никакое бюро при этом не выбиралось, а раздачей голосов заведывала группа инициаторов, достававшая также квартиры, оповещавшая о месте сходок и т. п.

*) Зачеркнуто: «личности».
**) Зачеркнуто: «иные либеральные барыни».
***) Зачеркнуто: «студентов».
****) Зачеркнуто: «И каждые 2—3—4 дня где-нибудь да назначались сходки».
*****) Зачеркнуто: «Медицинской».

В числе этих инициаторов *) был и Нечаев. Во всеуслышание он говорил редко; на стуле почти не появлился **)[36]; воля его чувствовалась всеми. [Он] заботился о достаточном количестве ораторов, в которых, в начале особенно, чувствовался недостаток. С личностями, чем-ниб[удь] выдвинувшимися, отличившимися, тотчас же знакомился, уводил к себе в Сергиевское училище, где он занимал место учителя, и сго[варивался], о чем говорить в следующий раз ***).

Никакой тайны из этих сходок не делали, наоборот, на них старались затащить всех и каждого. На рождество несколько усердных пареньков взяли даже на себя обязанность, переписавши в конторах заведений адреса студентов I и II курса (остальные считались безнадежными, так как из них посетителей сходок не насчитывалось и десятка), обегать все квартиры и звать всех на сходки. Тем, кого не заставали дома, оставляли записочки с адресом ближайшей сходки и с несколькими упреками, зачем, мол, не ходит.

Сведения о сходках начали появляться даже в газетах, а в одном фельетоне им было посвящено одно довольно безграмотное юмористическое стихотворение, кончавшееся такою любезностью:

«Ах надо, как надо
Для этого стада,
Для стара и млада,
Лозы вертограда».

Полиции сходки тоже были не безызвестны, и на одной, например, многие из входивших слышали, как два полицейских у ворот пересчитывали посетителей: 91-й, 92-й и т. д. Но пока никого не тревожили.

В начале, когда речь шла о необходимости касс и сходок, никаких возражений не являлось, но как только заговорили о средствах для приобретения этих благ, начались разногласия. Группа инициаторов и часть студентов, склонявшаяся к ее мнению ****), высказалась за подачу прошения за подписями возможно большего числа студентов министру народного просвещения (иные высказывались за наследника,

*) Зачеркнуто: «Скоро всем сделалось известно одно имя, прогремевшее впоследствии на всю Европу».

**) Зачеркнуто: «Тем не менее в организации входил и принимал деятельное участие».

***) Зачеркнуто: «На сходке».

****) Зачеркнуто: „Находившаяся более или менее под ее влиянием".

некоторые предлагали удовольствоваться на первый раз университетским начальством); если же прошение не будет принято или ответ на него последует неудовлетворительный, необходимо будет устроить демонстрацию, для которой тоже предлагались различные проекты — (от сходок и криков в аудиториях) до шествия толпой ко дворцу.

Противники этих проектов, главным оратором которых явился студент университета Езерский, возражали, что коллективного прошения, конечно, не примут, за демонстрации же исключат и вышлют, что к тому же, если бы даже подписались под прошением все бывающие на сходках, все же их было бы крошечное меньшинство, так как *) студентов в Пет[ербурге] несколько тысяч, [а] на сходки ходят лишь сотни; рассчитывать же на подписи таких студентов, которые боятся прийти, б[ыло] бы глупо; словом, [что] таким путем касс и сходок не добьешся.

Сторонники демонстраций,— нечаевцы или «радикалы», как их начали называть в то время (не совсем удачное название, только что введенное, приобревшее впоследствии право гражданства для обозначения членов революционных кружков),— возражали не столько опровержениями, сколько упреками в трусости, в неискренности, спрашивали: какой же путь могут они предложить с своей стороны для приобретения касс и сходок? Противники отвечали уклончиво. На общих сходках и те, и другие, видимо, не договаривали до конца. На частных же собраниях, в кругу единомышленников, езеровцы говорили, что кассу можно устроить и без дозволения начальства; если не поднимать об ней большого шума, то на нее, наверное, посмотрят сквозь пальцы; сходки же можно заменить литературными, музыкальными и т. п. собраниями. И большинство, видимо, склонялось на сторону Езерского.

Нечаевцы же в своих интимных собраниях говорили, что, конечно, демонстрациями касс и сходок не добьешься, да их и не нужно, они только **)развратили бы молодежь, облегчив ее положение, но что демонстрации нужны для возбуждения духа протеста среди молодежи.

С самым близкими, доверенными людьми Нечаев шел еще дальше и рисовал приблизительно такой план: за демонстрациями, конечно, последуют высылки на родину. Они

*) Зачеркнуто: «В трех высших учебных заведениях».
**) Зачеркнуто: «Удовлетворили».

отзовутся в других университетах, и оттуда тоже повышлют лучших студентов. Таким образом, к весне по провинциям рассыплется целая масса людей недовольных, возбужденных и, следовательно, настроенных очень революционно. Их настроение, конечно, сообщится местной молодежи и главным образом семинаристам, а эти последние по своему положению почти не разнятся от крестьян, и, раз'ехавшись на вакации по своим родным селам, сольются, сблизятся с протестующими элементами крестьянства и создадут революционную силу, которая об'единит народное восстание, момент которого приближается. (Это приближение момента и говорившими и слушавшими принималось за аксиому, не требующую доказательств. Сомнение б[ыло] бы принято за неуважение к народу: «Ведь он недоволен, обманут, так неужели вы думаете, что так вот он и станет сидеть, сложа руки?»).

Между тем, сходки принимали все более и более бурный характер, и многие из езеровцев уже перестали ходить на них. Становилось очевидным, что в прежнем виде движение продолжаться не может и должно или разрешиться чем-ни[будь], или принять иной характер. Собралась еще сходка. В самом начале Нечаев взял слово и заявил, что уже довольно фраз, что все переговорили, и тем, кто стоит за протест, кто не трусит за свою шкуру, пора отделиться от остальных; пусть, поэтому, они напишут свои фамилии на листе бумаги, который оказался уже приготовленным на столе.

Группа инициаторов подписалась первая, а за ними бросились подписывать и другие. На листе стоял уже длинный ряд фамилий, когда послышались протесты, что это глупо, бессмысленно, что лист может попасться в руки полиции. Подписи прекратились; послышались даже требования уничтожить лист, но он уже был в кармане Нечаева [37].

На следующий день среди знакомых Неч[аева] разнесся слух, что после сходки его и еще двух студентов призывали к начальнику секретного отделения при полиции, Колышкину, который заявил им, что, если сходки будут продолжаться, они трое будут арестованы и посажены в крепость [38]. При этом прибавлялось, что Нечаев настаивает, чтобы сходки продолжались, что уступить перед такими угрозами было бы постыдно. Сходку действительно созвали, но после истории с подписями никто из езеровцев на нее не явился; оставшихся же верными насчитывалось не более 40—50 чел.

При таком меньшинстве нечего было и думать, конечно, о демонстрациях, и бедные радикалы побранили вволю езеровцев: «Консерваторы, мол, подлые, трусы этакие» — не знали, о чем и говорить. Первого слова ждали от инициаторов, конечно, и главным образом от Неч[аева], но он не являлся, а вместо него прибежал его сожитель Аметистов,— ад'ютант, как шутя называли его некоторые [38а] — и об'явил, что Нечаев арестован: он рано утром, когда Аметистов еще спал, ушел из дому и с тех пор не возвращался, а перед вечером одна из его знакомых [38б] получила по городской почте странное письмо*), в котором говорилось: «Идя сегодня по Васильевскому острову, я встретил карету, в которых возят арестантов, из ее окна высунулась рука и выбросила записочку, при чем я услышал слова: «Если вы студент, доставьте по адресу». Я — студент и считаю долгом исполнить просьбу. Уничтожьте мою записку». Подписи не было. В записку была вложена другая на сером клочке бумаги; карандашом б[ыло] написано рукою Неч[аева]: «Меня везут в крепость, какую — не знаю. Сообщите об этом товарищам. Надеюсь увидаться с ними, пусть продолжают наше дело».

III.

Арест произвел сильное впечатление. О Неч[аеве] взялось хлопотать его училищное начальство: он был на хорошем счету — очень строг с учениками и прекрасно вел дело. Но на вопросы училищного начальства получился ответ, что Неч[аев] не арестован, что даже распоряжения об его аресте никакого не было. За месяц перед этим Неч[аев] выписал из Иванова свою сестру, девушку лет 17. Простая, почти безграмотная, она просто обожала брата, гордилась им безмерно, и весть об его аресте приводил[а] ее положительно в отчаяние. Она побывала у всевозможного начальства: в III Отделении, у коменданта крепости, у Колышкина и на своем владимирском наречии просила «дозволить, бога ради, повидаться с братом». Ей всюду отвечали, что в числе арестованных его нету. Это возбуждало ужасное негодование: «Что за варварство — арестовать человека и не только не давать свидания, а даже отрицать, что его арестовали!». Такая таинственность производила сенсацию.

*) Зачеркнуто: «Конверт с двумя записочками: одна — на сером клочке бумаги, другая — на белой, пером в последней».

Об аресте Нечаева заговорили повсюду *), пикантность его секретного похищения правительством скоро сделала из него какую-то легендарную личность. Усомниться в аресте никому и в голову не приходило, хотя близко знавшие его люди припоминали, что в последнее время он очень усердно занимался французским языком, несмотря на то, что, казалось бы, в такое горячее время ему было совсем не до пополнения своего образования; он продал также за неделю все свои книги [39]. Но ведь он просто (он), во-первых, не приобрел бы популярности, да и студенческое движение, по всему вероятию, прекратилось, бы, [а теперь] была надежда что оно будет продолжать[ся]; быть может, студенты за арест обидятся, и дело дойдет до протеста. Обидеться-то обиделись, но не совсем сильно: поговорили о том, чтобы просить университетское начальство, но оказалось, что Нечаев был записан только вольнослушателем, да и то на лекциях не бывал, т[ак] ч[то] протест против его ареста не состоялся [40].

Нечаев тем временем побывал проездом в Москве и, кое с кем познакомившись, проехал на юг, а оттуда морем за границу [41].

Между тем, сходки нечаевцев продолжались, но под влиянием таинственного ареста приняли другой характер.

На них уже не тащили всех и каждого, а если приводили новых лиц, то только коротких знакомых, о которых предупреждали заранее. Ни о кассах и сходках, ни о демонстрациях речей уже**) [не] говорилось Для общих речей с влезанием на стул и вообще уж не говорили, а рассуждали, разбившись на группы, и только, если в какой-нибудь из групп разговор сильно оживлялся, остальные примолкали и окружали ее. Говорили обо всяких более или менее запрещенных вещах, о предстоящих бунтах. Те, кому случилось быть очевидцем или слышать рассказы о бунтах в своей местности, рассказывали подробности, расспрашивали о каракозовщине,— мало кто знал об ней что-ниб[удь] определенное,— пытались говорить и о социализме, и наивные же то были речи! **) Один рыжий юноша, напр., с жаром ораторствует перед группой человек из 10:

— Тогда все будут свободны,— ни над кем никакой не

*) Зачеркнуто: «таинственность».
*) Зачеркнуто: «Больше».
**) Зачеркнуто: «Вот».

будет власти. Всякий будет брать, сколько ему нужно, и трудиться бескорыстно.

— А, если кто не захочет, как с ним быть? — задает вопрос один юный скептик.

На нервном лице оратора выражается искреннейшее огорчение. Он задумывается на минуту.

— Мы упросим его,— говорит он, наконец,— мы ему скажем: друг мой, трудись, это так необходимо, мы будем умолять его, и он начнет трудиться.

— Ну, если Ижицкий [42] к кому пристанет, так уж он и самого ленивого упросит,— шутят товарищи.

Собирались теперь эти сходки аккуратно раз в неделю на одной и той же большой студенческой квартире на Петерб[ургской] стороне. Некоторые сходки начинались чтением какого-ниб[удь] литературного произведения: читали сказки для детей Щедрина, новые стихи Некрасова, «Тройку». Стихотворение: «Какое адское коварство,— ироническое обращение автора к бледному господину лет 19, — ты замышлял осуществить? Разрушить думал государство или инспектора побить?» — мы, помню, приняли на свой счет. И, действительно, все как раз подходило, начиная с возраста. Хотя было между нами несколько «стариков»,—лет 22 — 23, но зато было много и 17-летних. Перед этим мы только что, месяца 1½, протолковали о своего рода побиении инспектора, т. е. о студенческой демонстрации, а теперь начали понемногу переходить к разговорам о «разрушении» государства *).

На одном из собраний было предложено устроить мастерскую, в которой студенты могли бы обучаться ремеслу. Необходимость этого мотивировалась, между прочим, тем, что перспектива диплома и карьеры развращает студентов. На первом и втором курсах жаждут движенья, с радостью бегут на каждую сходку, интересуются общественными делами, а как почувствуют близость диплома, так их уж ни на какую сходку и не затащишь. Потолковавши, решили устроить на первый раз кузницу и сейчас же сделали сбор с присутствовавших; кто внес рубль, кто и больше, и все обязались продолжать эти взносы ежемесячно. Всем очень нравилось иметь свое предприятие. Из неопределенного брожения начинало вырабатываться нечто вроде кружка. Запре-

*) Далее зачеркнуто: «Некоторые из ходивших на первые из этих преобразованных сходок потом поотстали, но оставшиеся, человек 30, знакомились между собой все ближе и ближе».

щенных тем никаких у нас не было, но было несколько рукописей: «Письма без адреса» [13], «Письмо Бел[инского] к Гоголю» *).

Устроить кузницу б[ыло] предложено технологу Чубарову, 10 лет спустя повешенному в Одессе. Он в это время собирался в Америку и уже взял паспорт, но ради кузницы согласился отложить **) свой от'езд. На следующем же собрании б[ыло] доложено, что кузница устроена и несколько студентов уже постукивают в ней молотками. Так дело шло месяца три.

Между тем в средине марта ***) от Неч[аева]начали получать письма из-за границы. В первом из них рассказывалось, что «благодаря счастливой случайности» ему «удалось бежать из промерзлых стен Петропавловки» [44], что он пробрался в Одессу, там снова был арестован, опять бежал и перешел, наконец, границу.

Письма стали приходить одно за другим. «Как только устрою здесь связи — тотчас же вернусь, что бы меня ни ожидало,— писал он.— Вы должны знать, что пока я жив, не отступлюсь от того, за что взялся... Что же вы-то там теперь руки опустили! Дело горячее... Здесь варится такой суп, что всей Европе не расхлебать. Торопитесь же, други, не откладывайте до завтра, что можно сделать сию минуту» [45].

К одному из писем была приложена прокламация Интернационала на фр[анцузском] языке [46] с надписью сверху по-русски: «Привет новым товарищам» или что-то в этом роде за подписью Бакунина. С каждым письмом упреки и жалобы на затишье ****) в Петербурге становятся все настойчивее. Но, несмотря на его призывы, никто не находил возможным возвратиться к вопросу о демонстрации, которой он, очевидно, требовал.

Но как будто сама судьба позаботилась исполнить его желание: в апреле, вдруг, совершенно неожиданно и без всякой прямой связи с рождественскими сходками, разразились беспорядки [47]. Началось в университете по какому-то совершенно частному вопросу насчет экзаменов, и одним из

*) Зачеркнуто: «Перевод из «Organisation du travail» Луи Блана и еще что-то. Все эти рукописи усердно переписывали с намерением распространять».

**) Зачеркнуто: «На месяц».

***) Зачеркнуто: „Ближайшие знакомые".

****) Зачеркнуто: «На молчанье».

инициаторов явился Езерский. Университет закрыли, и тотчас же начались сходки в академии и технологическом. Нечаевцы *) подняли на них вопрос о студенческих правах и кассах. Ткачев с Дементьевой напечатали воззвание от студ[ентов] к обществу, в котором говорилось, что они, студенты, не желают дольше сносить унизительного полицейского гнета и просят защиты у общества. Воззвание было перепечатано некоторыми газетами. А от градоначальника появилось на него возражение, что, мол, ни под каким особым полицейским надзором студенты не находятся, а под таким же, как и все жители Петербурга [48]. Академию тоже закрыли. Человек сто из всех трех учебных заведений было арестовано и рассажено по частям, а затем 68 выслано на родину [49].

В числе высланных оказались все посетители сходок на Петербургской стороне вместе с кузнецами. Это произошло на Страстной неделе, а на Фоминой полиция перехватила письмо Неч[аева] к Томиловой, его знакомой, либеральной вдове полковника, у которой жила его сестра. Томилову, сестру Неч[аева], его сожителя Аметистова и еще нескольких личных знакомых Неч[аева] арестовали, прихватили кстати и братьев и сестер, даже и не видавших Неч[аева] [50]. У Томиловой застали одну приехавшую из Москвы девушку Антонову; арестовали ее, а также ее жениха Волховского и ученицу, 14-летнюю девочку Успенскую [51] и, насбиравши таким образом человек 15—20, посадили их почему-то в Литовский замок (никогда потом подследственных в него не сажали), т. е. на буквальный голод, и оставили там на целый год. Эту Надю Успенскую без смеха никто из Литовского начальства видеть не мог: «ах вы, государственная преступница! «наш агитатор!». И, действительно, толстая девочка, на вид даже не 14, а 12 лет, школьничала... под кровать прячется, котенка наряжает. Исхудали все страшно, а Аметистов даже умер там [52]. В Петербурге, с этими апрельскими арестами, связанными с неч[аевским] делом движение прекратилось.

Действие переходит в Москву.

IV.

В конце августа Нечаев возвратился из-за границы и явился к приказчику книжного магазина Черкезова, П. Г.

*) Зачеркнуто: «Бывшие».

Успенскому [53], с которым познакомился под вымышленной фамилией еще зимой проездом из Петербурга за границу. В то время около Успенского и Волховского [54] существовал целый кружок, вроде сильно распространившихся позднее кружков самообразования. Несколько членов кружка, знавших иностранные языки, распределили между собою главнейшие страны Запада и взялись за их всестороннее изучение. Не знавшие языков изучали Россию. Книжный магазин, бывший к услугам кружка, представлял все удобства для дела. Результаты своих трудов члены излагали потом на собраниях, на которые приглашались и посторонние. Апрельский погром расстроил этот кружок, выхвативши из него несколько членов [55]. Успенский остался цел, но книжный магазин был с тех пор под надзором полиции, и туда то-и-дело являлись шпионы под самыми наглыми предлогами. Опасаясь поэтому поселить своего гостя в магазине, Успенский свел его в Петровскую земледельческую академию к своему знакомому студенту Долгову, что как нельзя лучше послужило тем планам, с которыми Нечаев явился в Россию.

Петровская академия была в то время в исключительном положении, и студентам жилось там неизмеримо лучше, чем в остальных учебных заведениях. Право сходок, которого добивались петербуржцы, здесь не имело смысла: половина студентов жила на казенных квартирах в одном здании, остальные размещались в слободке, в нескольких шагах друг от друга; к их услугам был великолепный парк при академии, и сходки, если бы таковые понадобились, могли продолжаться там хоть круглые сутки. У них была общая кухмистерская, общая библиотека, которыми заведывали выборные от студентов, была и касса, считавшаяся, правда, тайной, но спокойно существовавшая целые годы, насчитывая до 150 членов.

При таких условиях не было, конечно, никакой возможности вызвать чисто студенческие волнения или протесты, но зато, при сплочении студентов и зачатках организации, можно было смело рассчитывать, подчинив своему влиянию несколько выдающихся личностей, повести за собою очень многих. И для этого Нечаев попал в самые лучшие условия — сразу в самый центр академической жизни.

Долгов и его товарищи Иванов, Лунин, Кузнецов, Рипман составляли наиболее выдающийся и влиятельный кружок в академии. Они были на последнем курсе, и им оста-

валось всего несколько месяцев до выхода. У них были, как им казалось, выработанные убеждения и определенная цель впереди: окончивши курс, они устроят земледельческую ассоциацию и займутся также народным образованием. Они и теперь уже обучали грамоте всех жителей слободки, из'являвших к тому какую-нибудь склонность. Лунин выработал даже проект артели странствующих учителей, в которых намеревались превращаться члены ассоциации в свободные от полевых работ месяцы [56].

Такие ассоциации еще не были испробованы, не потерпели неудачи, да и самые условия их казались чрезвычайно привлекательными: производительный труд, жизнь в деревне, соприкосновение с настоящим «не испорченным» городской жизнью народом. По этим причинам земледельческие ассоциации составляли любимую мечту всего выдающегося в академии. Тоски, недовольства, незнания за что взяться, которые господствовали среди лучшей из зеленой молодежи Петербурга, здесь не замечалось. Занятия имели смысл, соответствовали мечтам, а потому занимались с увлечением, в особенности практикой, старались развивать в себе физическую силу, которой особенно отличался Иванов.

Нечаев предстал пред этим кружком облеченный ореолом таинственности. Успенский рекомендовал его под именем Павлова, но сообщил при этом, что он скрывается, что ему грозит опасность. В то время такой человек был необычайным явлением: никто не скрывался; даже предвидя арест, его ожидали на собственной квартире, — нелегальность изобретена еще не была. Пошли догадки: кто бы это мог быть? — и сразу пали на прогремевшего прошлой зимой Нечаева. Спрашивать, однако, не решались и оставались при одних догадках. В разговорах незнакомец сообщал*) о вопиющих страданиях и революционном настроении народа и давал понять, что он только что исходил пешком всю Россию. Он много рассказывал о Нечаеве, — какая это была крупная личность и как преждевременно погиб, распространял даже печатный рассказ о том, как его везли в Сибирь и дорогой удушили [57]; давал читать стихи, сочиненные в честь Нечаева Огаревым, где также упоминалось, что до самой смерти он остался верен борьбе [58].

---

*) Зачеркнуто: «тоном очевидца».

Он поселился у Долгова, потом перешел к Иванову и несказанно поражал своих хозяев неимоверной энергией в труде. Каждый день после обеда он отправлялся в Москву и возвращался поздно вечером. Потом всю ночь писал что-то, вычислял, просматривал какие-то рукописи и ложился, наконец, только перед утром. После 2—3 часов сна он вставал одновременно с ними и снова принимался за занятия.

Добродушные петровцы, привыкшие после дневных трудов *) покататься на лодке, бродить по окрестностям, а потом проспать часов 7—8, были поражены и очарованы. Таинственный незнакомец сделался для них необычайным существом, героем. С первого момента своего появления он сосредоточил на себе все внимание, все разговоры кружка, но сам мало говорил с ними.

Он занялся сперва Успенским, к которому Нечаев явился как знакомый, и на этот раз рекомендовался под настоящей фамилией. Успенский был для Нечаева очень подходящим человеком,—едва ли не единственным из членов будущей московской организации **). Он раньше встречи с Нечаевым уже думал, скорее, мечтал о заговорах, о революции. «Я всегда был уверен, что мне предстоит в жизни нечто в этом роде,—писал он своей жене после приговора к 15-летней каторге;—не думал только, что[бы] это случилось так скоро и в таких размерах». [Он был] страстный читатель, не пропускал ни одной книги, чтобы не заглянуть в нее. Перед отправкой в Сибирь он просил жену принести ему какую-то вновь вышедшую книгу. Та почему-то не принесла. «Так я и уеду, не прочтя книги,—писал он ей,—а вдруг на том свете меня спросят: читал ли ты такую-то книгу? Что я на это скажу? Ведь я сгорю со стыда!».

Эта шутка очень характерна для Успенского.

Несмотря на то, что по делам магазина ему приходилось знакомиться с массой людей, [тем не менее] он был застенчив с чужими и именно от застенчивости держал себя иной раз как-то ложно причудливо***). Только перед немногими близкими друзьями он выказывал во всем блеске свой оригинальный ум, насмешливый и вместе склонный к ужасной идеализации. В книгах, в идее революции,—борьба, заговоры уже давно привлекали его своим величием,

*) Зачеркнуто: «Погулять».

**) Зачеркнуто: «Образованной из всей увлеченной Нечаевым молодежи».

***) Зачеркнуто: «Неестественно».

поэзией, так сказать. Один из очень немногих членов московской организации, он заранее, еще до встречи с Нечаевым, обрекал себя на участь русского революционера. Но по собственной инициативе, без этой встречи, едва ли он скоро сделался бы заговорщиком; в его натуре не было элементов практического деятеля — ни сильного характера, ни знания людей, ни изворотливости.

С [него] Нечаев начал, пред'явив [ему] документ, который гласил:

«Податель сего № 2771 есть один из доверенных представителей русского отдела всемирного революционного союза.

Бакунин».

К бумаге была приложена печать с подписью: „Alliance revolutionnaire européenne. Comité générale". Нечаев об'яснил при этом, что „Alliance" принадлежит к Интернационалу и составляет притом самую революционную и влиятельную часть его [69].

Интернационал был тогда в апогее своей славы: отчеты о его конгрессах печатались даже в русских газетах, и Успенский сильно увлекался им. Затем рекомендация Бакунина, деятельность Нечаева в Петербурге и его побеги,— все это расположило Успенского отнестись к своему гостю с величайшим уважением и безусловным доверием. Заметивши произведенное впечатление, Нечаев сообщил Успенскому, что прислан в Москву организовать ветвь Великорусского отдела общества «Народной Расправы». [Это] общество сильно распространено в Петербурге, на юге, по Волге, почти всюду, только Москва отстала. Здесь, правда, давно уже распространяется одна из ветвей общества, но слабо: мешает традиционный консерватизм Москвы, а между тем необходимо придать делу большую энергию, необходимо спешить. Озлобление народа растет не по дням, а по часам. Членам общества, действующим в среде народа, приходится употреблять все силы, чтобы сдерживать его и не допускать до отдельных вспышек, которые могли бы помешать успеху общего восстания. Восстания следует ожидать в феврале 1870 года [60]. К этому сроку народ ждет окончательной настоящей воли и, обманувшись в своих ожиданиях, конечно, восстанет. В народе действуют и могут действовать только люди, вышедшие из его среды, но много дела, и чрезвычайно важного, предстоит также всем чест-

ным личностям из привилегированных классов. Они должны действовать на центры и парализовать энергию правительства в момент народного восстания. Для этого им необходимо сплотиться и быть наготове. Подготовлять, убеждать людей — дело совершенно бесполезное, напрасная потеря времени. Их следует втягивать в организацию такими, каковы есть, и брать с них то, что можно.

Предсказанию всеобщего восстания непременно в феврале 1870 года Успенский особенного значения не придал, но всем фактическим сообщениям Нечаева поверил безусловно [61] и об отсутствии обширного заговора узнал уже только под арестом. Грандиозная картина увлекала его сразу, и после двух-трех разговоров он стал сообщником Нечаева [62]: получил на хранение привезенные из-за границы прокламации, разные рукописи и печать «Народной Расправы» с изображением топора и с надписью «19-е февраля 1870 года». Ее предполагалось прикладывать к бланкам, на которых будущим членам общества предстояло получать приказы «Комитета».

Уладивши с Успенским, Нечаев принялся за Долгова и Иванова. Он расспросил их, — каждого в отдельности, — об их планах и намерениях. Те тотчас же рассказали ему о своей земледельческой ассоциации и народном образовании. Нетрудно было Нечаеву показать неосновательность таких планов: раз правительство узнает о существовании какой-нибудь ассоциации, оно закрывает ее, и нельзя же пахать землю тайно, а народным образованием людям, побывавшим в высших учебных заведениях, заниматься запрещено [63]. Что могли петровцы возразить на это? «А может быть, реакция и ослабеет?» «Может быть, правительство не станет преследовать земледельческих ассоциаций?» Нечаев осмеивал такие наивности и доказывал, что заводить ассоциации мыслимо, только опираясь на сильную организацию, которая всегда сумеет защитить своих членов. Такая организация существует, и им следует вступить в нее, но народное восстание так близко, что осуществлять свои планы им придется уже в обновленной России [64].

На вопросы Долгова и Иванова: откуда почерпает Павлов свою уверенность в близости народного восстания, тот отвечал, что может сослаться на людей из народа, принадлежащих к организации, а также на свои собственные наблюдения. Он сам до 17 лет был простым работником,

а в настроении народных масс людям из народа открыто то, что незаметно для членов привилегированных сословий.

Затем шли сообщения о громадности организации «Народной Расправы» и об обязательности для Иванова и Долгова присоединиться к ней, раз они стоят за благо народа и не желают быть зачисленными в ряды его врагов.

V.

В то время слова «сын народа», «вышедший из народа» звучали совсем иначе, чем теперь; в таком человеке, в силу [одного] его происхождения, готовы были допустить всевозможные свойства и качества, уже заранее относились к нему с некоторым почтением. «Сыны народа» были еще тогда большой редкостью. В сколько-нибудь значительном количестве крестьяне и мещане по происхождению стали появляться в среднеучебных заведениях только после реформы. В 1869 году еще очень немногие окончили образование, и от них готовы были ожидать и нового слова, и всяких подвигов. Да и самый народ представлялся в то время в неизмеримо более мифическом свете, чем впоследствии. С тех пор изучение общины, раскола, всевозможные исследования народного быта в нашей литературе, все семидесятые годы, наконец, со своим хождением в народ постольку ознакомили с ним нашу интеллигенцию, что у нее сложилось теперь об'ективное, фактическое представление о народе, независимое от суб'ективных пожеланий и идеалов отдельных личностей. Но тогда, при отсутствии фактических данных, под внешнюю форму пашущего землю существа в сером кафтане и лаптях можно было подкладывать какое угодно внутреннее содержание. И не только можно,—для известной части интеллигенции это было неизбежно. Неведомый крестьянин играл слишком [важную] роль во внутреннем мире юноши [для] грядущего «дела». От свойств и качеств этого крестьянина зависело все содержание его дальнейшей жизни. Поэтому оставаться при одном голом *незнании* для такого юноши было немыслимо. Ему волей-неволей приходилось строить, так сказать, гипотезы о крестьянине, и строил он их, конечно, сообразуясь с тем идеалом человека, какой у него сложился. Для одного — это был прирожденный революционер, ежеминутно готовый схватиться за топор; для других — он обладал альтруизмом, справедливостью и массой иных мирных добродетелей.

Такими именно юношами были и Долгов с Ивановым. Их представление о крестьянине не*) совпадало с сообщениями Нечаева, но ведь он зато сын народа: ему лучше знать. Разыгралось воображение, и одна гипотеза легко заменилась другой.

Поверить на слово в существование несуществующего громадного заговора в то время тоже было много легче, чем впоследствии. С каракозовского дела прошло всего три года. Члены петровского кружка были уже в то время в академии (Кузнецову в 69 году было 23 года, Долгову и Иванову по 22), а ведь не знали же они о существовании общества, пока его члены не были арестованы. Нет ничего невероятного, что и общество «Народной Расправы» давно существует и распространяется,— только они-то в первый раз наткнулись на его члена. Сперва Долгов, потом Иванов согласились поступить в общество и свели Нечаева со своими ближайшими друзьями, Кузнецовым и Рипманом (Лунин был в отсутствии). Уже заранее очарованные и подготовленные рассказами о Павлове, они тоже с первого же разговора дали свое согласие [66]. Это, впрочем, было правилом Нечаева: сделавшим решительное предложение, добиваться окончательного согласия, по возможности, в один разговор, как бы длинен он ни был. Если человек колеблется, просит подумать — из него, наверное, не будет толку.

— Он [Павлов] так ловко ставит вопрос, что, отказавшись, пришлось бы назвать себя подлецом, — говорил Кузнецов про Нечаева.

Заручившись поочередно [их] согласием, Нечаев созвал их 20 сентября всех вместе и прочел им следующие общие правила организации [66]:

«1) Строй организации основывается на доверии к личности. 2) Организатор (член общества) намечает пять-шесть лиц, с которыми переговорив одиночно и заручившись [их] согласием, собирает их вместе и составляет замкнутый кружок. 3) Вся сумма связей и весь ход дела есть секрет для всех, кроме членов центрального кружка, куда организатор представляет отчет. 4) Труды членов специализируется по знанию местности, среды и т. д. 5) Каждый член немедленно составляет вокруг себя второстепенный **) кружок, к коему становится в положение организатора .6) Не должно действовать непосредственно на тех, на кого можно действовать

*) Зачеркнуто: «совсем».
**) Зачеркнуто: „второй степени".

посредством других. 7) Общий принцип организации,— не убеждать, т. е. не вырабатывать, а сплачивать те силы, которые уже есть налицо,— исключает всякие прения, не имеющие отношения к реальной цели. 8) Устраняются всякие вопросы членов организатору, не имеющие целью дело кружков подчиненных. 9) Полная откровенность членов к организатору лежит в основе успешности дела».

По прочтении этих «правил» кружок считался основанным, и каждому из его членов назначены номера по порядку их приглашения: Долгов назывался № 1, Иванов 2-м, Кузнецов 3-м, Рипман 4-м .«Фамилии же ваши для организации не существуют»,— заявил Нечаев. Кружок должен собираться раза два в неделю, и члены обязаны сообщать на этих собраниях о ходе своих занятий, а № 1 должен составлять протокол всего, о чем говорится на собрании, и передавать его Павлову, являющемуся по отношению к кружку представителем всей организации.

На следующем же собрании Иванов и Кузнецов заявили, что уже составили вокруг себя по полному кружку,— каждый из пяти лиц. Правила приема членов они целиком нарушили, и вместо того, чтобы переговаривать с каждым отдельно и сперва получить согласие, а потом уже сообщать что бы то ни было, просто созвали каждый из своих ближайших приятелей и рассказали им все, что сами знали. Оба были сильно увлечены близкой революцией и огромной организацией, к которой пристали, а всего больше — самим Нечаевым. Увлечение подействовало заразительно: все приглашенные за исключением названного Кузнецовым Прокофьева, согласились вступить в организацию, выслушали правила и получили №№. Завербованные Ивановым назывались: № 21-й, 22-й и т. д., а Кузнецовым: № 31-й, 32-й, т. е. к № организатора прибавлялось по единице. Первоначальному кружку было*) об'явлено, что он повышается с 1-й степени на 2-ю и становится центром по отношению к вновь образовавшимся кружкам.

Протоколы их заседаний должны сперва доставляться ему, и уже с его замечаниями итти дальше в «Комитет», в первый раз выступивший теперь на сцену в качестве центра, которому кружок обязан безусловным повиновением.

Раз появившись, этот Комитет начал давать себя чувствовать на каждом шагу. Особенно заинтриговало вновь

*) Зачеркнуто: «Теперь».

испеченных заговорщиков такое обстоятельство: через 2—3 дня после производства первоначального кружка в центральный Нечаев сообщил его членам, что от Комитета получено предписание произвести расследование: кто из *) них нарушает правила организации и пробалтывается о ее делах лицами, к обществу не принадлежащим? Все отреклись **) Пункт второй общих правил они, правда, нарушили, но были уверены, что Нечаеву-то, а тем более какому-то Комитету, узнать об этом неоткуда. Нечаев советовал лучше сознаться: у Комитета, мол, масса агентов — от него не скроешься, и, если бы факт не был верен, он не сделал бы предписания. Петровцы не сознавались [67].

По уходе Нечаева начали строить предположения, что бы это могло значить? Кузнецову и Иванову пришло даже в голову: уж не Долгов ли, в качестве № 1-го и составителя протокола, вздумал фискалить на них Нечаеву? Они принялись стыдить его. Но Долгов клялся, что не думал ничего говорить, что он и сам не безгрешен: попробовал привлечь Беляеву, и на ее вопросы рассказал ей все с мельчайшими подробностями, а она потом наотрез отказалась вступить в организацию. Беляева была невестой Лунина ***) и близкой приятельницей его товарищей. Она намеревалась вместе с ними работать в ассоциации. В это время она жила в Москве и лишь изредка показывалась в академии.

На другой день Нечаев снова уговаривал виновных сделать чистосердечное признание. Он и сам ****) удивлялся той быстроте, с какой Комитет узнал об их проступках и сделал предположение, что, быть может, тут же в академии распространяется другая ветвь организации и что проболтался кто-ниб[удь] из них именно ее члену, тот сообщил своему центру, а центр донес Комитету. Но члены кружка так и остались при своем запирательстве. Комитет на этот раз оказался, однако, довольно снисходительным. Все наказание ограничилось присылкой Долгову синего бланка *****) с прописанным на нем строжайшим выговором за нескромность.

Петровцы ******) недоумевали, и только в тюрьме Долгов

*) Зачеркнуто: «Членов».
**) Зачеркнуто: «Грешки в этом роде они за собой знали».
***) Зачеркнуто: «Другим почти членом их, студентом».
****) Зачеркнуто: «высказывал изумление».
*****) Зачеркнуто: «С печатью».
******) Зачеркнуто: «Так и остались в».

узнал, что невольной доносчицей на него была Беляева: Нечаев познакомился с ней в Москве, принял в организацию и запретил сообщать об этом товарищам. Члены должны, мол, знать свою пятерку да ими самими организованные группы и ничего более. Правило это соблюдается очень строго: «Вот Долгов, напр., состоит членом организации, но вам он этого не скажет». Беляева заспорила, что непременно скажет, что они с Долговым такие старые приятели, что он не сможет утаить от нее никакой тайны. А когда Долгов, действительно, рассказал ей все, что знал, она без всякого злого умысла похвасталась Нечаеву и навлекла таким образом на Долгова бланк с выговором.

В другой раз Нечаев явился в академию в офицерском костюме и сообщил в виде об'яснения, что он прямо со сходки офицеров, куда иначе нельзя было проникнуть.

В том или ином виде подтверждения существования организации повторялись беспрестанно. В начале октября в академию явился даже ревизор от Комитета. Он пред'явил *) свои полномочия, выразил желание присутствовать на собрании центрального кружка. Молча просидел весь вечер и уехал, даже не сообщив, остался ли он доволен или будет прислан бланк с выговором. Этот ревизор, положим, ничего общего ни с какими комитетами не имел, а был просто приезжий из Петербурга технолог Лихутин, согласившийся по просьбе Нечаева разыграть комедию, но петровцы этого не знали и начинали все сильнее и сильнее чувствовать себя под сплошным присмотром какого-то таинственного начальства.

VI.

Вербовка, между тем, продолжалась. В Петровской академии Нечаев лично никого более не принимал, но каждому завербованному вменялось в обязанность привлечь своих ближайших товарищей, и в каких-нибудь две недели в кружках 2-й и 3-й степени состояло уже человек 40 [68], т. е. все студенты, находившиеся прямо или косвенно под влиянием кружка Кузнецова и Иванова или, вернее, Лунина, который до появления Нечаева был самым влиятельным его членом.

Вернувшись в конце сентября в академию, Лунин тотчас же познакомился с Нечаевым и, поспорив с ним, на-

*) Зачеркнуто: «бланк с печатью».

отрез отказался вступить в организацию; попытался отвлечь от нее и своих старых друзей, но, потерпев неудачу, бросил академию и уехал в Петербург.

Скоро оказалось, что у всех завербованных ближайшие товарищи тоже состоят в организации и делать становилось нечего. Все были под номерами, члены третьестепенных кружков даже под сотыми; собирались *) по пятеркам и писали протоколы заседаний. С этими протоколами членам высших кружков была постоянная возня: с них строжайшим образом требовались письменные доклады, а составлять их никому не хотелось, да и писать-то было нечего. Надо при этом помнить, что все они — и высшие, и низшие — жили в нескольких шагах друг от друга и помимо всяких заседаний виделись ежедневно по нескольку раз. Самым исправным составителем протоколов, да и вообще самым исправным членом оказался Кузнецов. Нечаеву он подчинился безмерно и изо всех сил старался, чтобы Комитет был им доволен. Кроме вербовки членов и писания протоколов, организации вменялось в обязанность распространять прокламации, и первою была роздана прокламация «Народной Расправы». Длинная, не особенно складная и очень кровожадная, она никому не нравилась и не помогала, а скорее мешала вербовать [69]. Когда об этом замечали Нечаеву, он отвечал, что зато она нравится людям из народа: те, мол, находят ее полезной. Розданы были также прокламации «бакунинская» и «нечаевская» [70], в которых говорилось о петербургском студенческом движении и, наконец, «дворянская», не имевшая для студентов ни малейшего смысла. В ней «Рюриковичи» приглашались сбросить с себя иго вытеснивших их отовсюду немцев, чиновничества и купечества и снова явиться в прежней силе и славе. Приводили также многих в недоумение стихи Огарева «Студент», посвященные молодому другу Нечаеву. Всем, знавшим Павлова, казалось, что он не кто иной, как Нечаев, а в стихотворении, между тем, говорилось, что уже «кончил жизнь он в этом мире, в снежных каторгах Сибири». Вся эта литература рассылалась также по почте и в изобилии представлялась по начальству. Затем организация получила приказание собирать деньги с сочувствующих. И тут также самым деятельным и исправным оказался Кузнецов. Он был сын богатых купцов, и на этом основании ему было предложено делать сборы с купе-

---

*) Зачеркнуто: «на заседании».

чества. Московских купцов он вовсе не знал, но желание угодить и не обмануть ожиданий было так сильно, что он вносил несколько раз по 200—300 руб. собственных присланных родными денег и записывал их как собранные с купечества.

В половине октября была создана новая, высшая ступень организации — «Отделение». Из кружков Петровской академии сюда были переведены два самых деятельных члена — Кузнецов и Иванов. В числе сотоварищей на своем новом посту они встретили, кроме Успенского и Беляевой, о которой было заявлено, что она переводится Комитетом из другой ветви, двух незнакомых лиц — Прыжова и Николаева. Прыжов был очень странным явлением среди этой юной компании. Человек за сорок лет, автор «Нищих на святой Руси» и «Истории кабаков», страстный исследователь народного быта, он в это время сильно пил и даже трезвый производил на многих впечатление человека больного, с расстроенными нервами. Через Успенского он познакомился с Нечаевым и пришел в восторг, когда тот рассказал ему свою биографию: до 17 лет едва знает грамоту и рисует вывески, а в 19 уж слушает лекции в университете и может цитировать наизусть «Критику чистого разума» Канта *). «Сорок лет живу на свете, а такой энергии никогда не встречал!» — восхищался Прыжов и приписывал энергию происхождению Нечаева. «Вот что вырабатывается из детей народа, раз они поставлены в сколько-нибудь благоприятные условия!» — утверждал он.

Прыжова тоже записали в организацию и занумеровали. Нечаев составил даже около него кружок, на заседания которого тот, впрочем, никогда не являлся и никаких отчетов не представлял. Едва ли даже он ясно сознавал, что вдруг стал заговорщиком [71]. В уме Нечаева ему была назначена совсем особая роль.

Николаев был тоже существом особого рода. Крестьянский мальчик **), кончивший свое образование в сельской школе, он находился под сильным влиянием учителя этой школы, Орлова, и по его просьбе отдал свой паспорт уезжавшему за границу Нечаеву. В тревоге за свою беспаспортность он провел всю весну в путешествиях из Москвы в свое родное Иваново (он был земляк Нечаева) и опять обратно

*) Зачеркнуто: «Если бы Прыжов позаботился проэкзаменовать его, то едва ли цитаты были особенно длинны».

**) Зачеркнуто: «Уже во время суда ему (было) только 19 лет».

в Москву, потом летом отправился в Тулу и нанялся там в плотничью артель. В конце сентября он опять пришел в Москву и застал тут Нечаева [72].

Николаев уже раньше встречался с Нечаевым, наслышался о нем от Орлова и теперь отдался ему всей душой. Он стал буквально его рабом, но рабом любящим, преданным, на которого можно положиться, как на себя самого. Повиновался Нечаеву и Кузнецов, повиновались почти все, но с теми требовалось быть всегда настороже и опутывать их целой сетью лжи и хитросплетений. С ним даже хитрить не было надобности: самые, казалось бы, нелепые приказания он свято исполнял, не задавал вопросов и ни на иоту не отступал от инструкций [73]. И Нечаев воспользовался им вполне. Этот наивный мальчик с круглым детским личиком являлся у него поочередно то деятелем из народа, привезшим известие о тульских оружейниках, которых нет никаких сил удержать от восстания [74], то ревизором, то членом Комитета. Самому Николаеву было строго запрещено пускаться в разговоры, говорил за него Нечаев, он же разыгрывал свои разнообразные роли в строгом молчании, но, благодаря инструкциям, так успешно, что являлся пугалом для многих членов организации [75].

VII.

Отделение *) заседало в Москве и начало свою деятельность с выслушания документа, носившего заглавие: «Общие правила сети для отделений» [76]. Эти правила были разделены на 12 пунктов. Первые 6 не представляют ничего особенного, но в пункте 7-м говорится: «Все количество лиц, организованных по «*Общим правилам*», употребляется как средство или орудие для выполнения предприятий и достижения целей общества. Поэтому во всяком деле, приводимом отделением в исполнение, существенный план этого дела должен быть известен только отделению; приводящие его в исполнение люди отнюдь не должны знать сущность, а только те подробности, те части дела, которые выполнять выпало на их долю. Для возбуждения же энергии необходимо об'яснить им сущность дела в превратном виде». (У Кузнецова и Иванова, бывших до этого момента членами кружка, организованного по «Общим правилам», при чтении послед-

*) Перед словом «Отделение» зачеркнуто: «Первое».

ней фразы должна бы мелькнуть мысль, что и им для возбуждения энергии сущность дела об'яснялась в превратном виде.) Пункт 8-й. «О плане, задуманном членами отделения, дается знать Комитету и только по согласию оного приступается к выполнению. 9) План, предложенный со стороны Комитета, выполняется немедленно. Для того, чтобы со стороны Комитета не было требований, превышающих силы отделения, устанавливается самая строгая отчетность о состоянии отделения через посредство звеньев, которыми оно связывается с Комитетом». (Повышение в чине ни к какому расширению прав, оказывается, не привело, а только усилило писанье протоколов).

В последнем пункте говорится о необходимости устройства притонов, «знакомство с городскими сплетниками, публичными женщинами, с преступною частью общества и т. д.», о «распущении и собрании слухов», о «влиянии на высокопоставленных лиц через их женщин». «Этот документ,— прибавляется в конце, — опубликованию не подлежит».

Тут же будет кстати привести и другой красноречивый документ, тоже не подлежавший опубликованию, — «Правила революционера» [77]. Они были, правда, известны очень немногим из членов организации, и большинство познакомилось с ними лишь во время следствия, но зато они лучше всего другого, мне кажется, выясняют взгляды и деятельность самого Нечаева. Вот эти правила.

«Революционер — человек обреченный: у него нет ни интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени,— все в нем поглощено единым и исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью: революцией.

«Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями и нравственностью этого мира.

«Революционер презирает всякое доктринерство и отказывается от мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает одну науку — разрушение. Для этого — и только для этого он изучает механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Для этого он изучает денно и нощно живую науку: людей, характеры, положения и все условия настоящего общественного строя во всех возможных слоях.

Цель же одна: беспощадное разрушение этого поганого строя.

«Он презирает нравственность: нравственно для него все, что способствует торжеству революции; безнравственно все что мешает ему.

«Революционер—человек обреченный, он беспощаден и не должен ждать себе пощады. Он должен приучить себя выдерживать пытки. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все изнеживающие чувства радости, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единой холодною страстью революционной. Для него существует одна нега, одно утешение — успех революции. Стремясь неутомимо к этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть и губить своими руками все, что мешает ее достижению. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм*), всякую чувствительность, восторженность, увлечение. Она исключает даже личную ненависть и мщение. Революционная страсть, став в нем обыденной, ежеминутной, должна в нем соединяться с холодным расчетом...

«Другом и милым человеком для революционера может быть лишь человек, заявивший себя на деле таким же революционером, как и он. Мера дружбы, любви, преданности определяется полезностью этого человека...»

Далее разбираются отношения революционера к обществу, и в начале повторяются положения из первой части, только перевернутые в таком роде: «Он не революционер, если ему что-нибудь жаль в этом мире...». «Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные связи: он не революционер, если они могут остановить его руку» и т. д. Потом идет разделение общества по категориям: к первой принадлежат лица, обреченные на немедленное истребление; им следует вести списки в порядке их вредности. Вторая категория состоит из людей, которым временно даруется жизнь для того, чтобы они успели наделать побольше зла. Людей третьей категории, не отличающихся ни умом, ни энергией, а только богатством и связями, [следует] эксплоатировать.

Замечательно по своей откровенности определение пятой категории. К ней принадлежат: «доктринеры, конспиранты,

---

*) А не дышат ли самым диким романтизмом сами эти «Правила революционера?» В. З.

революционеры, праздноглаголящие в кружках и на бумаге; их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед в практические головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих».

К этой-то пятой категории и причислял, вероятно, Нечаев всю увлеченную им молодежь, за исключением, быть может, Николаева. Что он сам был проникнут этими правилами (или они с него списаны?) и действительно ими руководствовался,— не подлежит сомнению *), но зато члены его организации почти поголовно составляли более или менее полную противоположность нарисованному в правилах идеалу революционера и подлежали, следовательно, «бесследной гибели». Приводим целиком конец «Правил революционера», представляющий, т[ак] с[казать], программу действия.

«У товарищества революционеров другой цели нет, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, т. е. чернорабочего люда. Но убежденное в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможно только путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет способствовать развитию тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию. Под народной революцией следует разуметь не регламентированное движение, по западному, классическому образцу, которое, всегда останавливаясь перед собственностью, перед традицией общественного порядка и нравственности, ограничивалось лишь низвержением одной политической формы для замещения ее другой и стремилось создать так называемое революционное государство. Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все традиции государственного порядка и классы России. Товарищество не намерено навязывать народу какую бы то ни было организацию сверху.

«Будущая организация, без сомнения, выработается из народного движения и жизни. Но это дело будущих поколений. Наше дело—страшное, полное, беспощадное разрушение. Поэтому сближаться мы должны прежде всего с теми элементами народной жизни, которые со времени основания Московского государства не переставали протестовать,

*) Зачеркнуто: «все осталь...».

не на словах, а на деле, против всего, что связано с государством: против дворян, чиновников, попов, против гильдейского мира и кулака-мироеда. Мы соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу — вот вся наша организация, конспирация, задача».

Если нарисованный в эти правилах «революционер» мог встретиться в жизни лишь в виде редкого болезненного исключения, то заданная ему задача была уж и вовсе невозможна. На практике она должна бы свестись «ближайшим образом к разыскиванию разбойничьего мира», но найти в Москве хоть одного разбойника было, конечно, немыслимо. Потому-то, вероятно, в «правилах сети для отделений» «лихой разбойничий мир» заменяется уже более широким термином «преступная часть общества». Это б[ыло], конечно, выполнимее: ворами Москва всегда изобиловала, но все же добраться до них было нелегко, и едва ли членам организации удалось бы увидеть хоть одного жулика, если бы не Прыжов.

Для своей «Истории кабаков в России» Прыжов исследовал всевозможные питейные заведения Москвы и знал такие притоны, куда в известные часы дня или ночи собираются жулики, проститутки самого низшего сорта и тому подобный люд, имеющий причины скрываться от полиции. На этом основании сближение с преступной частью общества было отдано в специальное заведывание Прыжова.

Некоторые из членов организации, наслышавшись о революционном настроении народа, начинали просить и требовать, чтобы им дали возможность изучить положение народа, указали пути для сближения с ним. Енкуватов попытался даже поступить на фабрику, но его не приняли за студенческий костюм. Он решился тогда переодеться крестьянином и достать себе крестьянский паспорт. Но тут его и Рипмана, тоже*) выражавшего горячее желание познакомиться с народом, перевели в кружок Прыжова, ч[тобы] изучать народ под его руководством. Тот постарался отговорить Енкуватова от его намерения: «Во время работы разговаривать некогда,— убеждал он его,— а если вам и удастся поговорить с товарищами, то только в кабаке, во время отдыха, так не лучше ли прямо начать с кабака? Результат будет тот

*) Зачеркнуто: «Сильно увлеченного».

же, а времени потратить меньше». Енкуватов согласился попробовать. Тогда Прыжов указал своим ученикам один кабак на Хитровом рынке и дал инструкции, как там держать себя [78]. Но кабак произвел на студентов самое тяжелое впечатление: не только заговаривать, даже прислушиваться они не смели, замечая на себе недоверчивые, враждебные взгляды, а от водки и духоты кружилась голова. Наконец, одна проститутка, которую Рипман накормил обедом, сообщила ему, что его хотят ограбить и он перестал ходить, а Энкуватов прекратил посещения после первого же раза [79].

Остальные члены отделения тоже имели специальные функции: Успенский остался хранителем всех печатных и писанных бумаг общества. В вербовке членов, сборе денег и раздаче прокламаций (он находил их плохими и глупыми) Усп[енский] почти не принимал участия, но знал сущность дела несколько ближе к правде, чем остальные: тем предоставлялось думать, что Комитет находится тут, где-то поблизости и вмешивается во все мелочи, Успенский же думал, что он за границей и заведует лишь общим ведением дел, предоставляя частности на личное усмотрение своих, «доверенных представителей». Нечаев намеревался, в случае от'езда, оставить его своим наместником.

Заявленной функцией Николаева была деятельность в народе. Беляева предполагала поступить на открывшиеся тогда женские курсы и действовать среди женщин. Специальностью Кузнецова оставалось купечество, среди которого он так успешно вел денежные сборы. В заведывание Иванова, бывшего старшиной студенческой кассы и одним из администраторов столовой, была предоставлена академия.

Вместе с переводом в Отделение, Кузнецов получил приказание бросить Академию и перебраться в Москву, поближе к купцам. На одной с ним квартире поселился и Николаев. Нечаев сообщил при этом, что тот занят составлением обширного доклада Комитету. И, действительно, входя в комнату, Кузнецов заставал Николаева за какими-то рукописями, которые тот при его появлении поспешно прятал. Кузнецов стал опасаться своего сожителя и старался как можно меньше бывать дома; ему все казалось, что тот следит за ним. Николаеву же Нечаев приказал переписывать прокламации, при чем запретил разговаривать с Кузнецовым и показывать ему, что именно он делает [80]. Так они и

прожили вместе недели три, недоверчиво посматривая друг на друга и не говоря между собой ни слова.

Кузнецов в это время успел запутаться в какой-то безвыходный круг: по внешности он казался страшно занятым, возбужденным, деятельным; в сущности же своей исполнительностью он навлек на себя массу дел и поручений: переговорить с тем-то, достать то-то, привлечь того-то, и не был в состоянии выполнять их, но по слабости характера [он] не решался отказываться и, стараясь выкручиваться из затруднений ложными отчетами, путался все более и более.

Совсем иначе вел себя Иванов. На его обязанности лежало «направлять общественное мнение академии», устраивать литературные вечера, распределять студентов по квартирам таким образом, чтобы было побольше притонов, заводить знакомства и связи в окрестностях Петровского и т. д. и т. д.

Но со времени перевода в Отделение Иванов переменился: он начал спорить и протестовать на каждом шагу; сразу же потребовал, чтобы вместе с ним и Кузнецовым в Отделение был переведен и Долгов, который ничем не отличился и даже не устроил кружка. Вопрос был представлен на решение Комитета, и, конечно, получился отказ. Живя в академии, он хотел присутствовать на всех заседаниях Отделения и протестовал, если они происходили без него. Письменных отчетов он вовсе не представлял, наложенных на него многочисленных обязанностей не исполнял и, в противоположность Кузнецову, никогда не делал вида, будто исполняет, а оспаривал их полезность или возможность и открыто заявлял, что делать пустяков и пытаться не станет. Нечаев начал обращаться с ним грубо; Иванов отвечал тем же. При каждом несогласии дело шло на разрешение Комитета, и резолюции всегда получались такие, какие хотел Нечаев. Иванов начал кричать против самого Комитета, высказывал сомнение в [самом] его существовании и не стеснялся выражать свое недовольство за пределами Отделения, сеять сомнение и раздражение в *) членах кружков академии. Словом, из деятельного помощника Нечаева он превратился в его противника, в тормоз для дела, в опасность, могущую легко разрушить всю сшитую на живую нитку организацию.

*) Зачеркнуто: «других».

Успенский и Кузнецов старались улаживать столкновения; борьба затихала по временам, чтобы снова разгореться при малейшем поводе. Какой ужасный исход предстоит ей, никому не приходило в голову.

В начале ноября общество внезапно увеличилось несколькими кружками. Студенты Московского университета, недовольные профессором Полуниным, решили не посещать его лекций [81]. Университетское начальство нашло нужным вмешаться в дело. Произошла обычная студенческая история, и 18 человек было исключено. Несколько членов организации—неизменный Кузнецов, Черкезов В., Рипман — были тотчас же откомандированы для знакомства с исключенными. От полунинской истории и всяких студенческих бедствий разговор переходил к положению народа, к близости революции, к *) обширной организации, раскинутой по всей России, и делалось предложение вступить в ее ряды. Благодаря возбужденному состоянию, согласие быстро давалось, читались общие правила организации, и, не успевши очнуться, студенты становились членами тайного общества.

Устроивши кое-как Москву, Нечаев решил предоставить ее на время собственным силам и заняться Петербургом, где ждал его страшный враг Негрескул, ведший против него всю осень самую усиленную агитацию.

Человек лет 30, умный, образованный, имевший массу знакомых, он уже в прошлом году являлся противником Нечаева, стараясь, и не безуспешно, убеждать знакомых ему студентов, что все университетские истории представляют самую бесполезную растрату сил. Потом он встретился с Нечаевым в Швейцарии, поссорился с ним и, возвратившись в Россию, рассказывал всем и каждому, что Нечаев—шарлатан, что арестован никогда не был, а вздумал разыграть на шаромыжку политического мученика, ч[то] его следует опасаться и не верить ему ни в одном слове. Он писал также Успенскому, предостерегая его от Нечаева, но получил холодный ответ. Скипского [82] же, второго приказчика в магазине, привлеченного Успенским в организацию, он-таки успел смутить, и тот, после поездки в Петербург, об'явил, что не хочет иметь ничего общего с «Народной Расправой». Впоследствии Нечаев прислал Негрескулу из-за границы несколько прокламаций, но тот умер во время следствия,—у него уже и раньше развивалась чахотка [83].

---

*) Зачеркнуто: «существованию»

Так как всю осень москвичи слушали рассказы о силе и величии Петербургской организации, то Нечаев в пояснение своей поездки показал им рескрипт Комитета, в котором № 2771 (Нечаев) осыпается похвалами и командируется в Петербург для образования девятого отделения из людей, участвовавших в студенческом движении, с которыми не могут справиться петербургские организаторы. В помощники же ему назначается Кузнецов.

Решено было ехать 20 ноября, а 19-го собрались в последний раз *) члены Отделения. Нечаев внес предложение наклеивать написанную им по поводу полунинской истории прокламацию: «От сплотившихся к разрозненным» в столовой и библиотеке академии.

Иванов заспорил: библиотеку и столовую закроют, студентам нечего будет читать и негде [будет] обедать, — только из этого и выйдет. Нечаев настаивал. Спор принял очень резкий характер.

— Дело пойдет на разрешение Комитета — оборвал Нечаев.

Иванов возразил, что и по решению Комитета на наклейку прокламаций не согласится.

— Так вы думаете противиться Комитету? — вскричал Нечаев.

— Комитет всегда решает точь в точь так, как вы желаете, — отвечал Иванов.

Успенский поспешил свести спор на менее жгучую почву, предложивши на разрешение общий вопрос: имеют ли члены организации право требовать подчинения общего интереса частному, интересов организации интересов студентов академии? Кузнецов тоже вмешался и стал упрашивать Иванова уступить; тот замолчал [84].

VIII.

На следующий день Нечаев уже собирался на вокзал, когда узнал, что Иванов был у Прыжова и говорил ему, что не желает больше слышать о Комитете, не отдает собранных им денег и устроит свою отдельную организацию.

Опасность была велика. Несомненно, что Иванову при его влиянии в академии не стоило бы никакого труда увести за собою большую часть кружков и растроить

*) Зачеркнуто: «в полном составе».

остальные, открыв им глаза насчет Комитета и всего прочего.

Нечаев мгновенно решился и отложил от'езд. Дело было спешное; необходимо было как можно скорее покончить с Ивановым, а, между тем, он мог наверняка рассчитывать [только] на одного Николаева, — остальные требовали подготовки.

Он начал с Успенского и сперва предложил на его разрешение общий принципиальный вопрос: обязательно ли для общества устранять всеми зависящими от него способами являющиеся на пути препятствия? Ответ последовал, конечно, утвердительный. Это был любимый способ самого Успенского решать спорные практические вопросы сперва в теории, в принципе и затем уже, — Нечаев знал это, — раз признавши что-нибудь в теории, Успенский не отступал перед практическим выводом, как бы ни был он тяжел для него. Когда первый вопрос был решен утвердительно, оставалось только доказать, что Иванов составляет препятствие. В этом не могло быть сомнения. Если теперь, оставаясь членом отделения, он не церемонится с его тайнами, то, выйдя из организации и ставши к ней во враждебное положение, может кончить доносом.

— Но какое же имеем мы право лишать человека жизни? — сомневался Успенский.

— Это вы о подсудности, что ли? — возразил Нечаев. — Тут дело не в праве, а в нашей обязанности устранять все, что вредит делу, иных же способов сделать Иванова безвредным мы не имеем [85].

С Успенским вопрос был решен. Оставались Кузнецов и Прыжов *). Николаев его не беспокоил: он будет делать то, что прикажут. Всего труднее было рассчитывать на повиновение Кузнецова. Остальные члены отделения были мало знакомы с Ивановым, для них он был лишь единицей в организации и вдобавок неприятной единицей, тормозившей дело и создававшей беспрестанные затруднения. Самолюбивый, раздраженный, вечно поднимавший споры, часто пустые и придирчивые, он показал им себя с самой невыгодной стороны. Для Кузнецова же Иванов был старым товарищем, почти другом, с которым он прожил много лет. Надеяться на согласие можно было, только рассчитывая на

*) Зачеркнуто: «Хотя последнего можно бы оставить и в стороне; трудно понять, зачем понадобилось Нечаеву его участие»?

слабохарактерность Кузнецова*) и то обаяние, под которым держал его Нечаев.

И с ним также Нечаев поставил сперва принципиальный вопрос—об устранении препятствий и затем перешел к тому, что препятствие заключается в Иванове. Смутно догадываясь, о чем идет дело, Кузнецов принялся уверять, что Иванова всегда можно уговорить, что он берется его успокоить.

— Нет! — возражал Нечаев,— необходимо покончить с этой историей; я уже дал знать Комитету, что ошибся в выборе Иванова, и он приказал мне порешить с ним.

Кузнецов продолжал притворяться, будто не понимает значения этого «порешить». В своем ужасе он, как утопающий за соломинку, хватался за всякое промедление, мешавшее Нечаеву произнести роковое слово.

Тот, с своей стороны, не спешил высказаться, предоставляя это другим.

— Он хочет сказать, что Иванова нужно убить, — вмешался Успенский, которого раздражала эта уклончивость.

Прыжов выразил громкий протест против убийства и, ничего не слушая, вышел из комнаты.

Продолжали говорить без него.

Кузнецов спорил, но по малодушию с общего вопроса перешел на частности.

— Убийство не выполнимо, — оно не может удаться, — говорил он[86].

— Выполнимо! — возражал Нечаев, — я принял Иванова, и на мне лежит ответственность за него, — если не удастся иначе, я просто пойду к нему вдвоем с Николаевым и задушу его.

Успенский возразил, что такое дело должно делаться всеми вместе.

Было уже поздно, и решили разойтись, чтобы на утро собраться у Кузнецова.

Рано утром на их с Николаевым квартиру, действительно, явились Нечаев и Успенский. Николаеву, который ни о чем не знал, было заявлено, что Иванов не повинуется Комитету и будет убит.

— А ты ступай в академию и посмотри, там ли он, — добавил Нечаев.

*) Зачеркнуто: «На его увлечение делом».

Не задавая никаких вопросов, не выказывая ни малейшего изумления, Николаев оделся и вышел.

Кузнецов опять попытался спорить, но теперь Нечаев не хотел уже ничего слушать и только грозно спросил:

— Не думает ли и он сопротивляться Комитету? — Кузнецов замолчал *).

Плана убийства еще не было составлено. Нечаев вдруг вспомнил о гроте в парке Петровско-Разумовского. Этот грот теперь уничтоженный, был, действительно, очень удобен для такого дела, особенно зимою, когда нельзя опасаться встретить в его окрестностях каких-нибудь любителей уединенных прогулок. Он находился в самом дальнем конце парка, в нескольких шагах от пруда и отделялся земляным валом от огибающей парк дороги. Нечаев же придумал и предлог, под которым можно заманить туда Иванова: нужно сказать ему, что будут отрывать типографию. Слух о типографии, зарытой в окрестностях Москвы, действительно существовал, и Нечаев ее разыскивал.

Кузнецов попытался сделать еще одно безнадежное возражение:

— По дороге за валом ходят сторожа, они могут услыхать борьбу и накрыть всех на месте.

Но Нечаев [уже] не слушал и занялся практическими приготовлениями: нужно было приготовить веревки, достать на крайний случай револьвер. Подошел и Прыжов. После полудня Николаев возвратился и сообщил, что Иванова в академии нет. Предположили, что он у Лау, жившего в Москве. Нечаев распорядился, чтобы Кузнецов, знавший адрес Лау, отправился туда с Николаевым, но в квартиру не входил, а дожидался на противоположном тротуаре и как только увидит, что Николаев выходит вместе с Ивановым, спешил назад, чтобы известить остальных. Тогда Нечаев, Успенский и Кузнецов должны были отправиться в грот, а Николаев с Прыжовым — привести туда Иванова.

— Прыжов ненадежен, — шепнул Нечаев Николаеву перед уходом, — ты и за ним присматривай!

Через несколько времени Кузнецов вернулся и сообщил, что Иванов идет с Николаевым. Все поспешно вышли, оставив на квартире одного Прыжова. Ему было поручено сообщить Иванову об отрывании типографии [78], которая оказалась в гроте, но когда Иванов вошел и заговорил с ним,

---

*) Зачеркнуто: «Молчали и остальные».

то [он] так волновался, что обрывался на каждом слове. Иванов, впрочем, не обратил на это никакого внимания и тотчас же согласился ехать. Они сели втроем на извозчика и, доехав до Петровского, встали и пошли к гроту. В нескольких шагах от дороги им встретился Кузнецов. Он уже провел в грот Нечаева и Успенского и был выслан навстречу остальным, так как ни Николаев, ни Прыжов дороги к гроту не знали.

Увидя Кузнецова, Иванов начал ему что-то рассказывать, но тот от волнения ничего не слыхал. Он пошел вперед, но сбился с дороги и завел всех в лес. Уже сам Иванов заметил ошибку и нашел настоящую дорогу. Было около шести часов вечера, и уже смеркалось, когда подошли к гроту. Иванов шел впереди, Николаев, которому было приказано схватить в решительную минуту Иванова сзади за руки, старался не отставать от него. Около грота никого не было, Нечаев с Успенским дожидались внутри, где было уже совершенно темно. Иванов вошел туда, Николаев следовал за ним и схватил его за руку. Тот вырвался и попятился к выходу, впереди остался Николаев и вдруг почувствовал себя прижатым к стене, а руки Нечаева сжимали ему горло. Он едва успел прохрипеть, что он Николаев. Иванов, между тем, заметивши, наконец, что происходит что-то странное, выскочил из грота. Нечаев, бросивши Николаева, выбежал вслед за Ивановым, догнал его в нескольких шагах от грота и повалил на землю. Между ними завязалась борьба. Нечаев навалился на Иванова и схватил его за горло, но тот кусал ему руки, и он не мог с ним справиться. Все остальные столпились в ужасе у грота и не трогались с места.

Нечаев крикнул Николаева, тот подбежал, но от волнения, вместо того, чтобы помогать, только мешал Нечаеву, хватая его за руки. «Револьвер!» — крикнул Нечаев. Николаев подал. Через несколько секунд раздался выстрел. Убийство было окончено.

Тело убитого обвязали веревками с кирпичами по концам и бросили в озеро [88].

На следующий день [89] Нечаев с Кузнецовым уехали в Петербург.

— Вы теперь человек обреченный! — говорил Нечаев своему спутнику словами из «Правил революционера».

Кузнецов был, действительно, уже обречен на потерю не только веры в дело, но и своей революционной чести.

Убийство Иванова было ему не под силу, — оно его раздавило, уничтожило.

«Обреченной» была и вся организация. Рассылаемые по почте прокламации в изобилии доставлялись в полицию и повел, наконец, к обыску в магазине Черкесова, который еще с весны находился под надзором. При первом обыске найдено было несколько прокламаций и какой-то список фамилий, в котором, между прочим, была фамилия Иванова. Магазин был закрыт, Успенский арестован[90].

Почти одновременно в пруду Петровско-Разумовского было найдено тело студента Иванова[91], убитого, очевидно, без цели грабежа, так как часы и портмоне оказались при нем. При нем же была его записная книжечка, а в ней тоже список фамилий, совпадавший с частью списка, найденного в магазине. Там был сделан вторичный, очень тщательный обыск: отдирали половицы, сдирали обои, обивку с мебели и в одном укромном месте нашли, наконец, всю канцелярию общества: печать, всевозможные «правила», массу прокламаций, списки членов как по номерам, так и по фамилиям, всякие доклады, протоколы, сообщения и т. д. По списку, найденному еще при первом обыске, в академии производились аресты, и дано [было] знать в Петербург об аресте Кузнецова.

Петербург оказал Нечаеву самый холодный прием: многие избегали встречаться с ним, спешили выпроводить с квартиры, и он с трудом находил себе ночлеги. Но, несмотря ни на что, Нечаев бился изо всех сил, чтобы организовать хоть несколько кружков, и заваливал Кузнецова поручениями. Тот ходил всюду, куда его посылали, но, придя в какой-нибудь дом, забывал, что именно нужно сказать, что сделать. С самого дня убийства он был, как в бреду: не мог ни спать, ни оставаться без движения.

Арестованный 2 декабря[92], он заболел и несколько недель пролежал в бреду и беспамятстве, но прежде потери сознания успел рассказать следователю об убийстве Иванова, каялся, плакал. Его подвергли подробному допросу, и он сознался во всем, рассказал все, что мог припомнить. Сознались потом Успенский, Прыжов, Николаев, Долгов, сознались почти поголовно. И чем сильнее был замешан человек, тем полнее сознанье. Дело раскрылось в таких мельчайших подробностях, в каких никогда уже не раскрывалось ни одно из последующих.

Внезапно явившееся вместе с арестом сознание, что ни Комитета, ни близости народного восстания, ни обширной организации — ничего этого не существует, а были только они одни, обманутые студенты, заговорщики по ошибке, действовало на арестованных подавляющим образом. То возбужденное, поднятое настроение, в которое они были искусственно приведены, мгновенно опало, и юноши очутились ниже, чем были до своего соприкосновения с призраком революции. Немногие из членов организации оправились потом, к немногим возвратилась опять прежняя бодрость и жажда дела.

Во время арестов Нечаев успел скрыться и бежал за границу[93]. Выданный потом цюрихским правительством, он держал себя на суде истинным революционером.

— Я не подданный вашего деспота! — заявлял он судьям и, когда его выводили, кричал: Да здравствует земский собор!

Заключенный в Алексеевском равелине, он умер в конце 1882 года [94] и, как показывают сведения о нем, помещенные в «Вестнике Народной Воли», он до конца сохранил свою почти невероятную энергию[95]. Ничего не забыл он за долгие годы одиночного заключения, ничего не забыл и ничему не научился. До самого конца он сохранил глубокое убеждение, что мистификация есть лучшее, едва ли не единственное, средство заставить людей сделать революцию.

Московская организация была действительно, в буквальном смысле слова, делом «нечаевским», т. е. делом одного человека: все остальные участники были в его руках лишь материалом, мягким воском, разогретым ложью, из которого он лепил по произволу те фигуры, какие являлись в его воображении.

Поразителен контраст между Нечаевым и нечаевцами: они были обыкновенной русской радикальной молодежью первой поры нарождавшегося движения. Им предстояло еще определяться и вырабатываться в практических деятелей, и выработались бы они, конечно, не в членов деспотически организованного революционного сообщества, а, по всему вероятию, в нечто аналогичное возникшим почти одновременно, но в стороне от нечаевщины, кружкам пропагандистов *).

*) Зачеркнуто: «Чайковцев».

Нечаев явился среди них человеком другого мира, как будто другой страны или другого столетия.

Нет достаточно данных, чтобы проследить, как сложился этот бесконечно дерзкий и деспотический характер и на чем именно выработалась его железная воля; несомненно, однако, что главнейшая роль принадлежит тут*) личной судьбе Нечаева. Самоучке, сыну ремесленника пришлось, конечно, преодолеть массу препятствий прежде, чем удалось выбиться на простор, и эта-то борьба, вероятно, и озлобила и закалила его. Во всяком случае, ясно одно: Нечаев не был продуктом нашей интеллигентной среды. Он был в ней чужим**). Не взгляды, вынесенные им из соприкосновения с этой средой, были подкладкой его революционной энергии, а жгучая ненависть, и не против правительства только, не против учреждений, не против одних эксплоататоров народа, а против всего общества, всех образованных слоев, всех этих баричей, богатых и бедных, консервативных, либеральных и радикальных. Даже к завлеченной им молодежи он, если и не чувствовал ненависти, то, во всяком случае, не питал к ней ни малейшей симпатии, ни тени жалости и много презрения. Дети того же ненавистного общества, связанные с ним бесчисленными нитями, «революционеры, праздноглаголящие в кружках и на бумаге», при этом гораздо более склонные любить, чем ненавидеть, они могли быть для него «средством или орудием», но ни в каком случае ни товарищами, ни даже последователями. Таких исключительных характеров не появлялось больше в нашем движении, конечно, к счастью.

Несмотря на всю свою революционную энергию, Нечаевы не усилили бы революционных элементов среди нашей интеллигентной молодежи, ни на шаг не ускорили бы ход движения, а могли бы, наоборот, деморализовать его и отодвинуть назад, особенно в ту раннюю пору. Система «не убеждать, а сплачивать» и обманом толкать на дело, вела, конечно, «к бесследной гибели большинства», но ни в каком случае не «к настоящей революционной выработке», хотя... [96]

---

*) Зачеркнуто: «Происхождению, исключительной».
**) Зачеркнуто: «Не убеждения».

Воспоминания о С. Г. Нечаеве.

На Васильевском острове, кажется, в Андреевском училище для готовившихся в учителя давали предметные уроки обучения по звуковому методу. Черкезов познакомил меня с учителем, и я стала ходить на эти уроки. Однажды учитель зазвал человек 7-8 из слушателей, и меня в том числе, в свою квартиру.

— Надо поговорить о том, что следует читать учителям, чтобы приготовиться к своей деятельности.

Выбрали вечер. Собралось нас в маленькой комнатке человек 10. За столом не хватило всем места.

Несколько человек сидело в сторонке на кровати, отдернув закрывавшую ее занавеску на шнурке. Эти учителя, — все очень молодые, не старше меня самой, — и раньше не представлялись мне особенными мудрецами. Теперь из начавшихся разговоров я увидела, что они очень мало знают, меньше меня самой.

Моя застенчивость быстро исчезла, поэтому я начала вмешиваться и оказалось удачно: меня слушали, и большинство становилось на мою сторону. Кто-то предложил читать по педагогии и назвал какую-то книгу. Один из сидевших в стороне от кровати, лицо которого показалось мне незнакомым (Яковлев [97] назвал его учителем приходского Сергиевского училища [98]), возражал, я присоединилась к нему. Сторонники чтения по педагогии были немедленно побеждены. Педагогия — педагогией, но важнее самим то педагогам хоть немного разбираться в вопросах жизни. Но что же читать? Все как-то примолкли на минуту. Я начала тогда называть достойное по моему прочтения: «Исторические письма» Миртова [99], печатавшиеся тогда в «Неделе», Милля с примечаниями Чернышевского, которого я в это время читала по вечером, придя с работы [100]. Пыталась я его читать еще

в пансионе, но тогда дело шло очень плохо, — книга и тогда казалась мне понятной, но недостаточно интересной. Теперь я читала его так, как когда то уроки учила: прочту главу и расскажу самой себе ее содержание. Под конец, читая Милля, я начала иногда угадывать заранее, что именно возразит на то или другое место Чернышевский, и, когда удавалось, была очень довольна. Все, что называла, заслуживало полного одобрения Яковлева, нового господина на кровати и одного наиболее речистого из учеников; остальные молчали. Начали их расспрашивать, что они уже читали, и, оказалось, что очень мало, некоторые читали коечто из Писарева, но ни один не читал Добролюбова. Я сказала, что моя любимая статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день».

— А когда же он придет? — спросил один из учеников.

Я сказала, что Добролюбов думает, что при поколении, которое «вырастет в атмосфере надежд и ожиданий».

— При нас, значит,— заметил господин на кровати.

Когда расходились он рекомендовался мне Нечаевым и просил прийти в Сергиевское училище.

— Что же, там тоже учителя собираются? — спросила я.

— Нет, учителя не собираются, но надо нам потолковать.

Через месяц или два имя Нечаева знало все студенчество и все общество, интересовавшееся студенческими историями. Но в это время оно не говорило мне ровно ничего. Пойти на его приглашение я не собралась.

Чуть не с самого появления саратовцев [101] я уже слышала, что в этом году непременно будут студенческие волнения. Почему, для чего, — этого я добиться не могла, но этому радовались, и я готова была радоваться.

Собственно официально-признанные студенческие «беспорядки», обозначившиеся арестами нескольких человек и высылкой из Петербурга около сотни, кажется, студентов, произошли только весной [102].

Не помню, с чего началось дело. Мои воспоминания уже застают студентов разделенными на два лагеря: «умеренных» — езеровцев и «радикалов», — нечаевцев. Езеровцы были в большинстве. Но и те, и другие, вместе взятые, составляли маленькое меньшинство среди студенчества.

Это была группа инициаторов, человек в триста [103] подобравшаяся из студентов первого и второго курсов всех тогдашних высших учебных заведений Петербурга: универ-

ситета, медицинской академии, технологического и земледельческой академии[104].

Мне так тяжело, так тоскливо было говорить свои «невероятно это»... «не знаю»... Я видела, что он говорит очень серьезно, что это не болтовня о революции: он будет делать и может делать, ведь верховодит же он над студентами?..

Служить революции — величайшее счастье, о котором я только смею мечтать, а, ведь, он говорит, чтобы меня завербовать, иначе и не подумал бы... И что я знаю о народе: бяколовских дворовых или своих брошюровщиц, а он сам из рабочих...

Быстро мелькали в голове взволнованные мысли.

— Но вы не отказываетесь дать свой адрес? — спросил замолчавший было Нечаев.

Об этом у нас была речь уже раньше. Я тотчас схватилась за это.

— Конечно, нет! Я ведь очень мало знаю и очень хочу что-нибудь делать для дела. Я не верю, чтобы из этого именно вышла революция, но, ведь, я и ни какого другого пути не знаю; я все равно ничего не делаю и буду рада помогать, чем только смогу.

Я, конечно, не помню в точности своих слов, но живо помню свое тогдашнее состояние. Ведь это был первый серьезный разговор о революции, первый шаг к делу, как мне тогда казалось.

Нечаев, видимо, обрадовался моей сдаче.

— Так по рукам, значит?

— По рукам.

Он вышел в другую комнату что-то сказать Аметистову. Я тоже встала и начала ходить по комнате. Он вернулся на свое место и вдруг сразу:

— Я вас полюбил...

Это было более, чем неожиданно. Как с этим быть? Кроме изумления и затруднения, как ответить, чтобы не обидеть, я ровно ничего не чувствовала и еще раза два молча прошлась по комнате.

— Я очень дорожу вашим хорошим отношением, но я вас не люблю, — ответила, наконец.

— Насчет, хорошего отношения, это — чтобы позолотить пилюлю, что ли?

Я не ответила. Он поклонился и вышел.

Недоумение, в которое привел меня последний эпизод, как-то стерло, разбавило силу чувства, вызванного преды-

дущим разговором, и я, походивши еще немного по комнате, улеглась на диван и тотчас же заснула.

Утром за самоваром мы встретились с Нечаевым, как ни в чем не было,— как будто никакого неделового эпизода вовсе и не было.

Дело в том, что каким-то инстинктом я его «полюбил» совсем не поверила и, так как думать об этом мне было почему то неприятно, я и не думала. Позднее я убедилась, что инстинкт подсказал мне правду. Нежные отношения, в которых не обошлось без признания в любви, были у него и в это время, и скоро после, за границей, в Москве. Невероятно, чтобы при этом огромное дело (в его намерениях, по крайней мере), которое он предпринял, полагаясь на одного себя, в его душе оставалось место для нескольких «любвей» или ловеласничанья. Вероятнее, что в некоторых случаях он признавался в любви, когда считал это нужным для дела.

По заповеди «катехизиса», — «революционер —человек обреченный, для него нет ни любви, ни дружбы, никаких радостей, кроме единой революционной страсти. Для революционера не должно быть никакой нравственности, кроме пользы дела. Нравственно все то, что способствует революции; безнравственно все, что ей мешает»... *) Если эти заповеди во время процесса вызывали и смех, и злобу, — так мало соответствовали они тому, что вышло в действительности,— то для самого то Нечаева «катехизис революционера» имел, мне кажется, реальное значение[105]. В том же документе «содействию женщин» придается огромное значение[106]. Но в предприятии, как он его задумал, помощь делу совпадала с помощью ему, с исполнением его внушений. При этом и тогда уже обман играл большую роль в его расчетах.

Меня, он, вероятно, еще раньше задумал взять с собой за границу для помощи в различных сношениях. Ведь он случайно считал меня гораздо бойчее, развязнее, чем я была. Могла я ему пригодиться и знанием языков. Если бы я выказала полнейший фанатизм к его планам, он, быть может, позвал бы меня за границу и без признания в любви. Мою склонность сомневаться, хотя бы и при готовности помогать, он попытался уравновесить признанием, а когда и это не удалось, отложил намерение. Потом, однако, он все-

*) Цитирую по памяти. **Примечание В. Засулич.**

таки прислал требование, чтобы я ехала за границу, но письмо было перехвачено, и узнала я о нем только в тюрьме.

Я могла бы решить, что, хотя мне и очень совестно лгать хорошим людям, но этого требует долг перед революцией. Ведь в том же стихотворении Рылеева, о котором я упоминала, я прочла тоже и наизусть выучила, также и следующие строки:

„Не говори, отец святой, что это грех,—слова напрасны.
Пусть—грех великий, грех ужасный!...
Что Малороссии родной, чтоб только русскому народу
вновь возвратить его свободу.
Все грехи, все преступления я на душу принять готов" [107].

Но уже такой-то веры в свой план, чтобы я ради его осуществления, сочла нужным говорить не всю правду Герцену, Бакунину, — он ни в каком случае не мог мне внушить. Поэтому, вероятно, он и отказался от этого намерения.

Утром мы с Нечаевым встретились, как ни в чем не бывало, — как будто ничего подобного ночному эпизоду не было.

Прощаясь, Нечаев сказал мне, что письма могут приходить и не для него, если его и не будет в Питере.

— Кому же мне тогда отдавать их?

— Там увидите.

Прошло несколько дней. Помню, давался литературно-музыкальный вечер в пользу высылаемых студентов. Мне помнится, что аресты и высылки начались позднее, но их ожидали, и вечер давался про запас, так сказать. Пела Лавровская, любимица всей тогдашней молодой публики. Не за один только голос ее любили, а в это время главным образом за то, что не хотела подчиняться своему положению актрисы: не принимала подарков. В наиболее читаемой тогда газете (там писали: Суворин, Буренин, и, вообще, у меня осталось от нее впечатление чего-то фальшиво-шутливого, притворно-легкомысленного, чего-то аналогичного «Новому Времени», каким оно было в либеральные времена) ей за это сделали выговор, а публика делала овации [108].

И на этот вечер она пришла в гладком черном платье со стоячим воротником, так, как ходили тогда по праздникам «нигилистки». Пела «Тучки небесные... нет у вас родины, нет и изгнания». Приняв это за намек на тайную, известную всем питерцам, цель вечера, публика неистово аплодировала; аплодировали также Лерновой, начавшей

с об'яснения, что, хотя она, было, отказалась быть на вечере, но, узнав его истинную цель, пожелала участвовать в нем во что бы то ни стало. Потом что-то читали тоже соответственное. Вообще вечер был очень удачен.

Я пошла ночевать к Томиловой, вместе с нею и Анной[109]. Нечаев провожал нас.

В этот же день или еще накануне я слышала, что Нечаева призывали и грозили ему, что, если сходки будут продолжаться, он будет арестован. На замечание Анны или Томиловой, что ему не следует ходить на них, он возразил, что это все равно: ему там сказали, что будет он ходить или нет, арестован будет во всяком случае. Но вечером он был очень доволен и уверял, придравшись к какой то фразе, которой публика апплодировала, что она готова требовать республики.

На другое утро (я спала в первой комнате от передней, а Томилова в следующей), еще не совсем рассвело, когда, проснувшись, я увидела перед собой Нечаева с свертком в руке.

— Спрячьте это!..

Не решаясь вылезти из-под одеяла, я ответила:

— Хорошо, спрячу. — Но протянутого свертка не брала.

На звуки голосов из своей спальни вышла Томилова и взяла сверток. Ничего не об'яснив и не прибавив, он тотчас ушел. Это — в последний раз, что я его видела в полутьме зимнего утра с протянутым свертком в руке.

В небольшом свертке были какие-то бумаги, крепко увязанные. Томилова завернула в платок и уложила в мешок из шнурков, — с таким в баню ходят. Она заметила, что, если бы он попался, это могло бы погубить несколько сот человек. Я взяла мешок с собой в переплетную и целый день держала его около себя, ни на минуту не теряя из виду.

Вечером, отправляясь домой, я вдруг сообразила, что глупо было не сбегать отнести его днем. Особенное опасение внушали мне пустынные мостки через Неву, ведшие к домику Петра Великого, близ которого была наша квартира; пьяные преградят дорогу, не то еще что-нибудь...

И, действительно, еще издали меня испугал на половине мостков быстро шедший навстречу мужчина. Поравнявшись со мною, он схватил меня за отворот шубки и потащил за собой.

В другое время, я бы крикнула, и это тотчас же помогло бы, так как на конце мостков стоял городовой. Но

нельзя же кричать с такой ношей. Я принялась молча колотить изо всей силы своего врага. На половину пустой мешок с твердым свертком начал действовать, как кистень. Выругавшись, он меня выпустил, и я побежала дальше.

Я была довольна. Дело в том, что я легко пугалась, а, между тем, страстно желала быть храброй. До приезда в Петербург моя храбрость почти не подвергалась никаким испытаниям.

Из воспоминаний о покушении на Трепова[110].

Маша ночевала у меня. С вечера я сказала хозяйке, что утром уезжаю — в Москву, кажется, — я уже и раньше говорила ей, что мне, может быть, придется уехать на короткое время, и что мои вещи, если не вернусь до конца месяца, может передать Маше [111]. Все эти предосторожности нужны были для Маши: она хотела, по своим особым соображениям, остаться на некоторое время в моей комнате. Написала прошение о выдаче мне свидетельства о поведении, нужного для получения диплома, и легла спать.

Мне казалось, что я спокойна и только страшно на душе, — не от разлуки с жизнью на свободе, — с ней я давно покончила, была уже не жизнь, а какое то переходное состоянии, с которым хотелось скорее покончить.

Страшной тяжестью легло на душу завтрашнее утро: этот час у градоначальника когда он вдруг приблизится там вплотную... В удаче я была уверена, — все пройдет без малейшей зацепинки, совсем не трудно и ничуть не страшно, а все таки смертельно тяжело....

Это ощущение было для меня неожиданным. При этом — не возбуждение, а усталость, даже спать хотелось. Но, как только я заснула, начался кошмар. Мне казалось, что я не сплю, а лежу на спине и вдруг чувствую, что схожу с ума, и выражается это в том, что меня неодолимо тянет встать, выйти в коридор и там кричать. Я знаю, что это безумно, из всех сил себя удерживаю и все таки иду в коридор и кричу, кричу. Прилегшая рядом со мной Маша будит меня: я в самом деле кричу, только не в коридоре, а на своей постели. Опять засыпаю и опять тот же сон: против воли выхожу и кричу; знаю, что это безумие и все таки кричу, и так несколько раз...

Пора вставать — часов у нас нет, но начинает сереть, и у хозяйки что-то стукнуло. К Трепову надо поспеть к

9-ти,— до начала приема, чтобы естественным образом спросить у дежурного офицера, принимает ли генерал Трепов и, если окажется, что принимает помощник, незаметно уйти. А раньше еще надо побывать на вокзале.

Мы молча встаем в холодной полутемной комнате. Я одеваюсь в новое платье, пальто и шляпу надеваю старые, и уже одевшись, выхожу из комнаты; новая тальма и шляпа уложены в саквояж: я переоденусь на вокзале. Это нужно потому, что хозяйка непременно пожелает проститься,— я избаловала ее разговорами,— будет хвалить тальму, советовать не надевать в дорогу. А завтра эта тальма будет во всех газетах и наведет ее на мысли. Было мне время все обдумать до мельчайших подробностей.

На улице уже рассвело, но полутемный вокзал еще совершенно пуст. Я переодеваюсь, целуюсь с Машей и еду. Холодно, мрачно выглядят улицы.

У градоначальника уже собралось около десятка просителей.

— Градоначальник принимает?

— Принимает: сейчас выйдет! — Кто-то точно нарочно для меня переспрашивает: «Сам принимает?» Ответ утвердительный.

Какая-то женщина плохо одетая, с заплаканными глазами, подсаживается ко мне и просит взглянуть на ее прошение,— так ли там написано? В прошении какая-то несообразность. Я советую ей показать прошение офицеру, так как видела, что он уже чье-то просматривал. Она боится, просит, чтобы я показала. Я подхожу с ней к офицеру и обращаю его внимание на просительницу. Голос обыкновенный,— ни в чем не проявляется волнение. Я довольна. Кошмарной тяжести, давившей меня со вчерашнего вечера, нет и следа. Ничего на душе, кроме заботы, чтобы все сошло, как задумано.

Ад'ютант повел нас в следующую комнату, меня первую, и поставил с краю, а в это же время из других дверей вышел Трепов с целой свитой военных, и все направились ко мне.

На мгновение это смутило, встревожило меня. Обдумывая все подробности, я нашла неудобным стрелять в момент подачи прошения: и он, и свита на меня смотрят, рука занята бумагой и проч., и решила сделать это раньше, когда Трепов остановится, не доходя до меня, против соседа.

И вдруг нет соседа до меня,— я оказалась первой...

— Не все ли равно: выстрелю, когда он остановится около следующей за мной просительницы,— окрикнула я себя внутренно, и минутная тревога тотчас же улеглась, точно ее и не было.

— О чем прошение?

— О выдаче свидетельства о поведении.

Черкнул что-то карандашом и обратился к соседке.

Револьвер уже в руке, нажала собачку... Осечка.

Екнуло сердце, опять, выстрел, крик...

— Теперь должны броситься бить,— значилось в моей столько раз пережитой картине будущего.

Но произошла пауза. Она, вероятно, длилась всего несколько секунд, но я ее почувствовала.

Револьвер я бросила,— это тоже было решено заранее, иначе, в свалке, он мог сам собой выстрелить. Стояла и ждала.

«На преступницу напал столбняк»,— писали потом в газетах [112].

Вдруг все задвигалось: просители разбегались, чины полиции бросились ко мне, схватили с двух сторон.

— Где револьвер?

— Бросила, он на полу.

— Револьвер! Револьвер! отдайте!— продолжали кричать, дергая в разные стороны.

Предо мной очутилось существо (Курнеев, как я потом узнала): глаза совершенно круглые, из широко раскрытого рта раздается не крик, а рычание, и две огромные руки со скрюченными пальцами направляются мне прямо в глаза. Я их зажмурила из всех сил, он ободрал мне только щеку. Посыпались удары, меня повалили и продолжали бить.

Все шло так, как я ожидала, излишним было только покушение на мои глаза, но теперь я лежала лицом вниз, и они были в безопасности. Но, что было совершенно неожиданно, так это то, что я не чувствовала ни малейшей боли; чувствовала удары, а боли не было. Я почувствовала боль только ночью, когда меня заперли наконец, в камере.

— Вы убьете ее?

— Уже убили, кажется.

— Так нельзя: оставьте, оставьте,— нужно же произвести следствие!

Около меня началась борьба: кого-то отталкивали,— должно быть Курнеева.

5*

Мне помогли встать и усадили на стул... Мне казалось, что я была все в той же комнате, где подавала прошение, но предо мною, несколько влево у стены, шла вверх широкая лестница без площадки, до самого верха противоположной стены, и по ней, спеша и толкаясь, с шумом и восклицаниями, спускались люди. Она тотчас приковала мое внимание: откуда взялась тут лестница, раньше ее как будто не было и какая-то она точно не настоящая, и люди тоже не настоящие. Может быть, мне это только кажется,— мелькнуло тут же в голове. Но меня увели в другую комнату, и вопрос о лестнице так и остался у меня под сомнением и почему-то целый день, как только оставят меня на минуту в покое, так она и вспомнится.

Комната, в какую меня перевели, была большая, гораздо больше первой, у одной из стен стояли большие столы, вдоль другой шла широкая скамья. В комнате в этот момент было мало народу, из свиты градоначальника, кажется, никого.

— Придется вас обыскать,— обратился ко мне господин каким-то нерешительным тоном, несмотря на полицейский мундир,— какой-то он был неподходящий к этому месту и времени: руки дрожат, голос тихий и ничего враждебного.

— Для этого надо позвать женщину,— возразила я.

— Да где же тут женщина?

— Неужели не найдете? И сейчас же придумала:

— При всех частях есть казенная акушерка,— вот за ней и пошлите,— посоветовала я.

— Пока то ее найдут, а ведь при вас может быть оружие? Сохрани господи, что-нибудь случится...

— Ничего больше не случится; уж лучше вы свяжите меня, если так боитесь.

— Да я не за себя боюсь,— в меня не станете палить. А верно, что расстроили вы меня. Болен я был, недавно с постели встал. Чем же связать-то?

Я внутренно даже усмехнулась: вот я же его учить должна!

— Если нет веревки, можно и полотенцем связать.

Тут же в комнате он отпер ящик в столе и вынул чистое полотенце, но вязать не торопился.

— За что вы его? — спросил он как то робко.

— За Боголюбова.

— Ага! — в тоне слышалось, что именно этого он и ожидал.

Между тем весть, очевидно, уже распространилась в высоких сферах. Комната начала пополняться: один за другим прибывали особы военные и штатские и с более или менее грозным видом направлялись в мою сторону. В глубине комнаты появились солдаты, городовые. Мой странный (для данного места и времени) собеседник куда то исчез, и я его больше не видала. Но стянули мне за спиной локти его полотенцем. Распоряжался какой-то шумный, размашистый офицер. Он подозвал двух солдат, со штыком на ружьях, поставил их за моей спиною и велел держать за руки. Отошел на средину комнаты, посмотрел, должно быть, место не понравилось, перевел на другое. Уходя, предостерег солдат:

— Вы берегитесь, а то, ведь, она и ножем пырнуть может!

Мое предвидение, а следовательно, и подробная программа поведения не шла дальше момента побоев. Но с каждой минутой я все сильнее и сильнее радостно чувствовала (несмотря на вспоминавшуюся лестницу), что не то, что вполне владею собой, а нахожусь в каком-то особом небывалом со мной состоянии полнейшей неуязвимости. Ничто решительно не может смутить меня или хотя бы раздражить, утомить. Чтобы ни придумали господа, о чем то оживленно разговаривавшие в это время в другом конце комнаты,— я-то буду спокойно посматривать на них из какого-то недосягаемого для них далека.

На несколько минут нас оставили в стороне и солдаты начали перешептываться.

— Ведь скажет тоже: связана девка, два солдата держут, а он: берегись — пырнет!

— И где это ты стрелять выучилась? — шепнул он потом над самым ухом.

В этом «ты» не было ничего враждебного,— так, по мужицки.

— Уж выучилась! Не велика наука,— ответила я также тихо.

— Училась да не доучилась,— сказал другой солдат:— плохо попало-то!

— Не скажи,— горячо возразил первый,— слыхать, очень хорошо попала,— будет ли жив!

В группе сановников произошло движение, и они направились в мою сторону. Это — вернулись полицейские, по-

сланные произвести обыск по фантастическому адресу, выставленному мною на прошении.

— На Зверинской улице в номере таком-то никто не живет, дом снесен!

— Вы дали ложный адрес!..

Д. А. Клеменц.

(Личные воспоминания).

Я познакомилась с Дмитрием Александровичем Клеменцом в конце апреля 1878 года. Он был давно нелегальным и в то время, недавно приехав из-за границы, жил без прописки в квартире, принадлежавшей доктору Веймару. Недели через 3 после моего оправдания[113], переменив несколько приютов, туда же попала и я.

По рассказам я уже давно знала Клеменца: его имя было одно из самых известных имен пропагандистов первой половины семидесятых годов. Знала я его так же как автора нескольких остроумных статей в журнале «Вперед»[114]. Молва рисовала его при этом человеком веселым, склонным к шутке, к мистификации. Едет он, например, по железной дороге в костюме рабочего, к нему подсаживается студент и «по глазам видно-хочется юнцу пропагандой заняться».

Клеменц доставляет ему это удовольствие, задает вопросы насчет явлений природы, слушает, удивляется, а потом возьмет и поправит какую-нибудь ошибку студента, ссылкой на такого-то профессора или на такой-то учебник.

Последние три года Клеменц,— если и не сплошь, то по большей части,— жил за границей. Не знаю, были ли у него какие-нибудь готовые планы, когда, после окончания процесса 193-х, он вернулся в Россию, но пока он во всяком случае оставался в стороне. Он был чайковцем, но организованного кружка чайковцев уже не существовало, а с новой организацией будущих землевольцев, носивших еще название натансоновцев или троглодитов, он не сблизился[115].

Привел меня в квартиру Веймара один из деятельнейших троглодитов, Оболешев, известный тогда под именем «Алешки».

— Вот вам тут, чтобы не скучали, интересный кавалер имеется, да еще с заграничным штемпелем,— рекомендовал мне Алешка вышедшего нам навстречу Клеменца.

Клемец проворчал что-то в ответ на шутливую рекомендацию и видимо остался недоволен, сидел и молчал, пока не ушел Оболешев.

Первое впечатление не соответствовало составленному заранее представлению, но веселым я редко видала Дмитрия Александровича также и впоследствии. Он, правда, в разговоре часто употреблял шутливые выражения: рассказывая что нибудь, он охотно выдвигал и подчеркивал комические черточки. Н. А. Морозов приводит несколько прозвищ, данных Клеменцом разным изданиям. Я помню еще два: появившееся тогда «Начало»[116] он прозвал «мочалой», а «Отечественные Записки»[117], называл «Отечественными закусками». Но таков, казалось мне, был сложившийся характер его речи, таков был его способ выражать свои мысли. Вероятно, в ранней юности, когда этот способ только складывался, Клеменц радостно смотрел на свет божий, сыпал шутками от полноты веселья, и шутка так сроднилась с ним, что подвертывалась на язык даже тогда, когда не весело смотрели его глаза на рассмеявшегося собеседника. Я, впрочем, не видала Дмитрия Александровича среди действующих товарищей, не видала его за делом. В течение четырех месяцев, когда мы были почти постоянно вместе, я узнала его только как человека, очень доброго и чуткого человека, который помог мне в трудное время после оправдания.

Оно было для меня в самом деле трудное. Перед этим я рассчитывалась с жизнью на воле и больше о ней не думала, и вдруг, совершенно неожиданно, мне вернули ее, и надо было решить, что мне с ней делать, и решить как можно скорее. Между тем, все это первое время я была беспрерывно окружена все новыми и новыми незнакомыми людьми и должна была наскоро учиться «держать себя» в своем новом положении. Помню первый урок. Всего часа через два после освобождения, один молодой человек обратился ко мне с восклицанием:

— Вы должно быть теперь очень счастливы?

Я ответила: «не очень» — и тотчас же раскаялась в своей необдуманной правдивости,— так много изумления, огорчения и даже негодования вложил он в свое восклицание: «Что вы говорите!»

Я поспешила стереть впечатление, сказала, что еще не опомнилась, не огляделась. Это был радикал, а затем я попала в среду людей, едва знакомых с радикалами, для которых я была нечто невиданное и неслыханное. Они рисковали из за меня, давая приют в своих квартирах; при других обстоятельствах знакомство с ними, быть может, доставило бы мне много удовольствия, но при данных — и знакомство то, в сущности, не выходило, — я чувствовала себя слишком стесненной и поэтому, несмотря на окружающее меня сочувствие, более одинокой, чем в доме предварительного заключения.

Оглядевшись в своем новом убежище, я сразу почувствовала большое облегчение. Квартира наша находилась над ортопедической клиникой доктора Веймара и считалась необитаемой. Брат доктора, студент, взял от нее ключ, сказав дворнику, что будет ходить в эту квартиру готовиться к экзамену. Прислуги, конечно, никакой не было. Чай варили на имевшейся у Клеменца спиртовке, а еду приносил студент. Посетителей тоже было немного. Чтобы проникнуть к нам, надо было пройти через помещение жившей вместе с Веймаром г-жи Ребиндер, а она не одобряла лишних гостей. Кроме Эдиньки (так звали все студента), забегавшего по несколько раз на день, и Грибоедова, близкого приятеля Клеменца и Веймара, заходил иногда только сам доктор Веймар. Из его разговоров с Клеменцем всего живее врезались мне в память горькие жалобы на студентов медиков, отличавшихся во время войны с Турцией в санитарном отряде, которым заведывал Веймар.

Одна очень высокопоставленная особа [118] пожелала, чтобы они были ей представлены, а студенты не пошли.

— Что мне делать! — жаловался Веймар. — Я уж им говорил: ну что вам стоит выслушать несколько милостивых слов из уст прекрасной дамы и поцеловать у ней ручку? Так нет же, — уперлись варвары, и ни с места! Я уж ей докладывал, что они, мол, стесняются неимением хороших костюмов, а она говорит: — «Пусть придут в тех, какие обыкновенно носят». Ну, что с ними делать?

В этот момент никто не предсказал бы, что Веймар умрет на каторге.

Ни в каком злоумышлении он и действительно не был повинен. Уликами против него была покупка лошади, на которой скрылся убийца Мезенцова, и, главное, револьвер, из которого стрелял Соловьев. Но лошадь он купил за не-

сколько лет до смерти Мезенцова и за ее дальнейшей судьбой не следил; революьвер же свой собственный дал кому-то из радикалов без определенной цели, а потом, перейдя через несколько рук, этот революьвер достался Соловьеву.

По большей части мы с Клеменцом оставались одни в квартире. Он сразу повел себя так, как будто ровно ничего особенного со мной не случилось, и с ним первым за последний месяц я почувствовала себя свободной. В первые дни, однако, я все же плохо поддерживала разговор, и он оставлял меня в покое. Уйдет, бывало, в свою комнату и читает там что-то, пока не придет с едой Эдинька или не настанет время чай пить.

Но скоро наши разговоры, начинавшиеся за чаем, стали затягиваться. Он говорил о жизни за границей, о чайковцах, я о южных бунтарях, к которым прежде принадлежала. Общее между нами было то, что оба в данный момент не принадлежали ни к какой организации. Своими для Клеменца по старой памяти оставались чайковцы, но он предвидел, что придется присоединиться к натансоновцам — этого потребует долг, обязанность — больше некуда пристать, но радостных перспектив это в нем, повидимому, не вызывало [119]. После разгрома пропагандистов 73—74 гг., движение возродилось, сперва на юге, потом на севере, в виде бунтарства. Вместо пропаганды поверили в возможность поднять народ посредством агитации на почве уже имеющихся у него желаний и чаяний [120]. Первый период захватил Клеменца целиком, но второй веры он, кажется, не пережил и подошел к ней поближе лишь теперь, когда и она уже была накануне упадка.

Чаще и чаще Клеменц стал заговаривать со мной о Швейцарии, о том, какая это прелесть горы и какое наслаждение лазить по ним. Ему таки придется еще раз туда с'ездить, и как хорошо, что придется захватить там часть лета.

— Вот бы и вам поехать за компанию. На какие бы я вас вершины сводил!

Первое время я совсем не думала о поездке за границу, и, когда Брешковская написала мне (переписка завязалась у нас в доме предварительного заключения и продолжалась, когда я вышла оттуда, а она осталась дожидаться отправки в Сибирь), что не советует ехать за границу, куда меня наверное будут отправлять.

— Что за охота,— писала она,— фигурировать в роли отставного героя,— я с ней совершенно согласилась.

Когда я передала Клеменцу слова Брешковской, он запротестовал.

— Я вас не «фигурировать» зову, а пошляться по горам. Там не пофигурируешь, и «геройство» там требуется совсем особое: круто не круто, а лезь.

Он, очевидно, страстно любил природу и умел рисовать ее мне на соблазн самыми неожиданными чертами.

— Разве не интересно в какой-нибудь час пройти от средины лета через май и апрель до марта? Внизу уже трава вся скошена, а мы идем по цветущему майскому лугу, потом оказывается, что еще только зацветают первые весенние цветочки, а через 10 минут трава только что начинает пробиваться из голой земли, и по ней бегут струйки из-под тающего снега.

И я соблазнилась. К тому же приговор был кассирован [121], и со всех сторон стали настаивать на моем от'езде. Передавали, что какой-то генерал предлагал провезти меня под видом своей жены, строились и еще какие-то планы, но опытные люди, и Клеменц в том числе, находили, что всего вернее будет подождать Мойшу Зунделевич, который был в это время в Швейцарии, и переехать границу обычным контрабандным путем. Я тоже предпочитала этот способ. Путешествие с генералом мне совсем не улыбалось.

После кассации г-жа Ребиндер заметила около дома какие-то зловещие признаки (Эдинька уверял, что ей со страху показалось), и мы с Клеменцем переселились к его приятелю Г[рибоедову], который служил где-то при железной дороге, кажется. Он любил радикалов, подсмеивался над ними и в то же время оказывал им услуги. У него часто делали обыски и всегда без результатов. Он говорил, что по разным приметам безошибочно знает уже с вечера, что ночью будет обыск, и приготовляет бутылку водки и закуску. Полиция, по его словам, у него почти и не ищет, только закусывает и умиляется:

— Вот если бы все-то были такие же понимающие люди, а то иные сердятся, точно мы по своей воле по ночам рыскаем.

В настоящий момент он ручался за нашу полную безопасность. У него жилье пошло совсем свободное, и можно было видеться со старыми приятельницами, бывшими в Петербурге.

Наконец приехал Мойша и с ним Сергей Кравчинский, который прямо с вокзала явился на квартиру Г[рибоедова]. Сергей был лучшим другом Клеменца, но был совсем не похож на него, в данный момент в особенности. Приехал он весь сияющий, в самом восторженном настроении. Сквозь призму иностранных газет и собственного воображения мое оправдание и последовавшие затем демонстрации показались ему началом революции. К его приезду Петербург давно принял свой обычный угрюмый вид, но Сергей не давал этому обстоятельству сбить себя с занятой позиции. Город доказал уже, что представляет из себя,— не помню уж,— вулкан или костер, лишь сверху покрытый пеплом и готовый разгореться при первом же дуновении ветра. В это время среди радикалов ходил по рукам рассказ о Чигиринском деле [122], присланный из тюрьмы Стефановичем. Сергей прочел, нахмурился и несколько времени думал, а потом заявил, что к этому делу нельзя подходить с обычной нравственной меркой. Принцип остается непоколебимым, но бывают моменты, когда насилие над собственным нравственным чувством становится подвигом (в доказательство— ссылки на известное изречение Дантона, на «исповедь Наливайки» Рылеева). И Чигиринское дело именно таково, основание дружины дало начало громадному народному движению.

— Да ведь она уже кончилась, разгромлена! — возражают ему.

— Это ничего не доказывает. Дружина быстро росла и сама по себе продолжала бы расти все быстрее. Что, если бы нечаянный случай с неосторожным дружинником [123] произошел позднее, когда в дружине уж было бы 20 или 30 тысяч? Тогда дело кончилось бы иначе...»

Или примется уверять, что русские революционеры все на подбор прирожденные вожди, гиганты.

— Ну, где там? Фантазируете вы! — скажешь ему. В ответ на это следует ссылка на мадам Роллан, которая писала мемуары во время революции и жаловалась, что между ее современниками нет крупных людей.

— А ведь нам они кажутся гигантами. Я уверен, что вижу наших радикалов в том самом свете, в каком увидит их потомство.

Клеменц был старше Кравчинского всего на 2—3 года, но относился к нему как-то по отечески, словно к любимому детищу, а за его гиперболы и фантазии называл «синей пти-

цей». В таком состоянии, как в эти несколько дней, которые мы пробыли вместе в Петербурге, я уже никогда не видала Сергея, хотя долгие годы знала за границей. Приехал Сергей с планом издавать в Петербурге газету, он же придумал и название газеты: «Земля и Воля», перешедшее на организацию.

***

Дней через 5 мы тронулись в путь и без малейших затруднений добрались до Швейцарии, если не считать того, что в Берлин мы попали на другой день после выстрела Нобилинга, и все русские приятели Зунделевича и Клеменца были в тревоге, ожидая нашествия полиции. Ни на одну квартиру мы не могли зайти и провели несколько часов до поезда в каком то парке.

До обещанных гор пришлось пробыть в Женеве недели две, и тут понадобилось все имевшееся у меня упорство и самая энергичная защита Клеменца, чтобы не дать втянуть себя в «фигурирование», предсказанное Брешковской. В то время почти все русские эмигранты становились анархистами и поддерживали тесные сношения с швейцарскими, итальянскими и отчасти французскими анархистами. Заранее предполагалось, что и я окажусь анархистской, и когда приеду за границу, то из моей внезапной, всеевропейской известности можно будет извлечь не мало пользы для дела анархии. Я в то время имела лишь смутное понятие как об анархии, так и об социал-демократии. Русская пресса не давала сведений о таких вещах, а попадавшие мне в руки заграничные издания давали слишком отрывочные. И вот на второй же или на третий день по приезде мне излагают такой план: парижские анархисты назначат день и час моего приезда в Париж и приготовят там встречу, может собраться по меньшей мере несколько тысяч. Полиция может вмешаться, но арестовать меня ей не дадут. Я отказалась самым решительным образом, но меня уверяли, что это необходимо и что я только потому и отказываюсь, что не знаю иностранной жизни. Клеменц сразу стал на мою сторону и защищал меня самым энергичным образом, но когда мы остались одни — стал защищать авторов плана.

— Я то вас довольно знаю, а им невдомек, что вы ухитрились свою известность до зубовного скрежета возненавидеть. Сам по себе план невинный и девять десятых,

дай только им вашу знаменитость, согласились бы на него с удовольствием.

Когда с этим планом было покончено, возник другой. Я должна написать открытое письмо против немецких социал-демократов и хорошенько их отщелкать. Не помню уже, в какую именно газету предполагали послать письмо, но рассчитывали, что его станут перепечатывать и цитировать и оно широко распространится.

К этому плану Клеменц отнесся отрицательно не только из соображений о моих свойствах, но и по существу. Нельзя ругать партию, не имея об ней достаточного понятия. Я и без Клеменца, конечно, не согласилась бы писать о том, чего не знаю, и в Париж бы не поехала, но сопротивляться в одиночку целой компании было бы очень неприятно, а с ним я чувствовала себя под надежной защитой.

Отправились мы, наконец, в горы. Один эмигрант [121] поселился с своей семьей в горном шалэ над Сионом — маленьким городком в глубине долины Роны — и пригласил нас погостить. В эту пустынную местность не заглядывали иностранцы, наводняющие летом Швейцарию. К нескольким домикам, разбросанным по горе, не было даже искусственно проложенной дороги, а вела наезженная, вроде наших проселочных. А выше этих шалэ уже не было никаких жилищ, кроме построек для пастухов на высоких пастбищах. Это то и нравилось Клеменцу. Он в принцип возвел ходить лишь в такие горные места, которые «не упомянуты в путеводителе Бедекера», а, следовательно, не приспособлены для иностранцев и ими не посещаются.

К нам присоединился один молодой француз. Мальчишкой лет 16-ти он при разгроме коммуны бежал от версальцев и с тех пор болтался в эмиграции. Во время своего прежнего пребывания в Швейцарии Клеменц обратил на него внимание, говорил с ним, старался приохотить к чтению, настаивал, чтобы ленивый парень работал, когда находилась работа. Воспитание шло не особенно успешно, лентяем он остался, но к Клеменцу привязался, как собака, и считал его умнейшим из людей. Вел он себя скромно, не претендовал, когда при нем говорили по русски, и настаивал, чтобы ему, как младшему, давали нести провизию.

Переночевавши в шалэ у Эльсница, мы на другой же день отправились в путь, расспросивши почтальона о ближайших вершинах и проходах.

Шли мы «вольно», без непреклонно установленного

маршрута, только старались обыкновенно очутиться к восходу солнца на открытом восточном склоне и как можно выше. После восхода солнца ложились спать прямо на траве, потом разыскивали покинутую пастушью хижину и варили там чай. Их не мало в этой местности. На каждом горном пастбище скот пасется недели две, а затем переходит на другое. Покинутое жилье пастухов остается не запертым, и никому не запрещено входить в него и разводить огонь на очаге, над которым висят на железных крюках большие черные котлы. Мы так и делали, и если находили около очага готовое топливо, то, уходя, оставляли на виду какую-нибудь монету в полной уверенности, что хозяева найдут ее в целости, так как воры не заходят в такую пустыню.

Мы, действительно, не встречали никого и могли бы не видеть ни одного человека, если бы не шли иной раз на звон колокольчиков на шеях коров, чтобы за несколько копеек получить от пастухов вволю сливок, а иногда и сыру, и, расспросив их об окрестных проходах, выбрать себе ближайшую экскурсию. Открыли мы даже один глетчер с большим синим «морем льда», тоже не упомянутый у Бедекера. Это было наиболее трудное путешествие, так как итти пришлось не по лугам, как прежде, а по камням, что неизмеримо труднее. Но мои спутники умели лазить по скалам, а у меня оказались к этому великолепные способности. Прошлявшись так дня три, мы спускались к Эльсницам, отдыхали дня два в цивилизованных условиях, запасались всем нужным и опять уходили.

Такова была материальная сторона этих своеобразных прогулок, но в чем была их главная прелесть, чем именно произвели они на меня неизгладимое впечатление, оставшееся на всю жизнь, я не сумею рассказать с художественной убедительностью, не буду и пытаться, поэтому.

Но, конечно, не одна красота пейзажей действовала на меня так сильно. Мне уже не случалось впоследствии шляться по горам*) в таких робинзоновских условиях, но я бывала,

*) Кравчинский написал в «Подпольной России», что я одна бродила по горам, когда на меня нападала тоска.

— Когда же я бродила одна, Сергей? Зачем вы это выдумали? — спросила я его.

— Бродили вы не одна, а с Дмитрием, но не мог же я сказать этого иностранцам («Подпольная Россия» была написана по итальянски [125]). Они увидели бы в этом нечто предосудительное, и вышла бы опять-таки неправда, да еще больше, чем теперь. Прим. В. З.

хотя и не часто, в таких местах, которым у Бедекера посвящено по целой странице. Это, разумеется, те именно пункты в горах, с которых открываются самые красивые виды, самые широкие панорамы гор. Их, прежде всего, обстраивают отелями и всячески приспособляют для иностранцев. И красота открывающихся видов производила, конечно, сильное впечатление, но совершенно иное. От созерцания этой красоты через 2—3 часа уже чувствуется утомление, как от продолжительного пребывания в картинной галлерее или в театре, и хочется домой, на свободу от отелей и иностранцев. А в тех пустынных, почти нетронутых людьми горах, которые не упомянуты у Бедекера, я почувствовала себя в каком-то другом мире, с каждым часом росло во мне интенсивное чувство свободы от всего, что давило на душу, от людей и, главное, от себя самое. Отступили куда-то все тяжелые мысли и нерешенные вопросы. Не то, чтобы я иначе взглянула на них: я просто отбросила на это время всякие мысли,— «потом, успеется», а пока отдавалась целиком впечатлениям этого иного мира: «точно на луну попала»,— приходило иной раз в голову.

Клеменец радовался, что его горы «оправдали себя», как он выражался.

— Вы так ими хвастаетесь, точно они ваше собственное произведение.

— А то чье же по вашему? Кто же их выдумал?

И для меня то, действительно, выдумал их именно он. Выдумал в Петербурге, в квартире Веймара.

Еще по дороге в Женеву, остановившись на несколько дней в Берне, я познакомилась с А. М. Э[пштейн] или Анкой, как звали ее все друзья и как скоро стала звать и я. Она была женою Клеменца, как он тогда же сообщил мне, попросив не говорить Анке, что знаю об этом — потом она и сама скажет, а сейчас будет стесняться, а ему сделает нагоняй.

Позднее, когда Дмитрий Александрович был уже арестован, Анка рассказывала мне с его слов, что он и за границу то поехал на этот раз, главным образом, из-за меня.

— Вижу, мол, человек с утра до ночи только о том и думает, на каком ему суку повеситься (фигурально, конечно). Ничего хорошего выйти из этого не могло, я и надумал полечить ее горами.

— Сам он,— рассказывала Анка,— живя в Швейцарии, прибегал к этому лечению от всех душевных невзгод. Из

России ли получатся скверные вести или так тоска нападет, сейчас же в горы уйдет, даже зимой хаживал, хотя конечно, не на самые пустынные.

Анка была в своем роде тоже замечательным человеком. Она, как и Клеменц, была членом первоначального кружка чайковцев и во время деятельности этого кружка приносила ему много пользы.

Еврейка, дочь контрабандиста она, с детства зная, как это делается, первая устроила правильную, почти безопасную переправу через границу и людей, и изданий. Не идея служения русскому народу привлекла ее, она его не знала; народом для нее была еврейская беднота. Русских социалистов она всей душой полюбила за опасности, за страдания, которым они подвергаются, и всю душу вкладывала в то, чтобы уменьшить эти опасности, облегчить страдания. Ее другой специальностью было заводить сношения с тюрьмами, и тут она проявляла упорство и искусство, доходившее до виртуозности. В противоположность большинству тогдашних радикалов, которым приходилось разрывать со своими родными, она осталась в теснейшей дружбе со своей матерью (отец давно умер). Мать не только знала, чем занимается ее дочка, но даже сама помогала ей в ее бескорыстной контрабанде. В этом она не видала ничего дурного, но заставила Анку поклясться, что она не крестится и не выйдет замуж за «гоя». Опасение, как бы мать не узнала, и заставляло ее целыми годами скрывать свои отношения к Дмитрию Александровичу.

Она умерла в 90-х гг. Тяжело легло на нее наступившее в 80-х гг. реакционное затишье. Деятельная любовь к людям, нуждающимся в ее заботах, составлявшая сущность ее натуры, не находила себе естественного исхода. Случится беда в каком-нибудь эмигрантском семействе: умрет кто-нибудь, с ума сойдет, заболеет,— Анка тут. Все свои помыслы сосредоточит она на этой семье, работает, хлопочет, из кожи лезет («собственную шкуру людям на кофту перешивает», как характеризовал раз Клеменц ее склонность взвалить на свои плечи самую большую тяжесть, чтобы избавить друга от сравнительно меньшей). Но вот прошла беда, жизнь семьи входит в обычную колею, и Анка, успевшая всей душой привязаться именно к этой семье, чувствует, что она уж не нужна больше и опять становится чужой и лишней для нее... В последние годы жизни ее все больше и больше тянуло домой, к матери,— уж там то она не будет лишней.

Но для этого пришлось бы подавать прошение: жить у матери под чужим именем невозможно.

Но в июле 1878 г. это мрачное время было еще в неведомом будущем, а наступило хорошее — последнее совсем хорошее в жизни Анки. В Бернском университете, где она кончала медицину, начались вакации, и Анка приехала, чтобы провести их в горах с Дмитрием Александровичем. С ней приехали ее бернские приятельницы, и вся компания поселилась в горах, тоже над долинной Роны в более населенной местности, ближе к озеру. Там же поселилась и я [126].

От Сергея [127] получались длинные письма. Он присоединился к троглодитам и был все в том же радужном настроении, в каком приехал в Россию. В особенности восторженное письмо от него пришло после дела Мезенцова [128]. Всем нам стало жутко за Сергея; в это время уже начались смертные казни. Клеменц решил, что необходимо немедленно ехать в Россию, но что-то—деньги, кажется — задержало его до конца августа. Он уехал, решив присоединиться к троглодитам и принять участие в редактировании газеты [129], а Сергея постараться хоть на время сплавить за границу. Так он и сделал, а через несколько месяцев был арестован.

Сергей Михайлович Кравчинский (Степняк).

28 декабря 1895 года громадная толпа жителей Лондона собралась на площади перед вокзалом, чтобы проводить останки умершего русского изгнанника-революционера, Сергея Михайловича Кравчинского, писавшего под именем Степняка. По отзывам английской прессы, такого широкого и торжественного выражения общественного сочувствия давно не видал Лондон.

— Я знал Степняка и в течение нескольких лет пользовался его дружбой и добрыми советами — говорил в своей прощальной речи член английского парламента, рабочий социалист Джон Бернс.— Я знал его за доброго, верного друга угнетенных всех национальностей... Он соединил в себе сердце льва и добродушие ребенка. Это был великодушный человек и крупная личность в революционном движении Европы. И вот, чтобы засвидетельствовать это перед целым светом, мы сошлись, здесь, в самом сердце Лондона, где свободно пользуемся тем, чего так страстно добиваются и за что борются все русские, подобные Степняку...

«Великодушный человек»... «Сердце льва и добродушие ребенка»... Бернс указал действительно характерные черты погибшего изгнанника.

Джону Бернсу, как и всем своим многочисленным заграничным знакомым и читателям последнего десятилетия покойный был известен под именем Степняка. Но в революционной, «подпольной России» семидесятых годов одним из самых популярных, самых любимых имен было имя Сергея Кравчинского. Оно тесно срослось с самыми первыми шагами революционного движения.

Кравчинский как будто лишь вместе с этим движением появился на свет божий. О его детстве почти ничего неизвестно самым близким его людям. Он о нем никогда не

рассказывал. Где родился — он, кажется, и сам не знал. Отец был военным доктором и, следуя за полком, семья часто переезжала с места на место. Учился он в Орловском кадетском корпусе, затем в петербургском артиллерийском училище; был произведен в офицеры, но скоро вышел в отставку и поступил студентом в Лесной институт.

В начале семидесятых годов, незабвенных для каждого, кто принимал тогда участие в движении, Кравчинскому было около двадцати лет. Он участвовал в самых первых шагах образовавшегося в Петербурге в 1872 г. кружка молодежи, ставшего потом известным под именем кружка чайковцев, и был одним из самых деятельных и несомненно самым галантливым его членом.

Занявшись сперва распространением хороших легальных книг среди учащейся молодежи, кружок скоро перешел к пропаганде среди рабочих, и Кравчинский читал им популярные лекции за Невской заставой.

В 1873—74 гг. кружок чайковцев, а за ним и вся захваченная движением интеллигентная молодежь принимается за пропаганду среди крестьян и одним из первых отправляется «в народ» Кравчинский[130]. Чтобы иметь предлог для своего появления в деревне и не возбудить подозрительности крестьян, пропагандисты считали нужным знать деревенские работы или какое-нибудь обычное в деревне ремесло. Для большинства интеллигентов, не привычных ни к какому ручному труду, это представляло почти непреодолимые трудности. Сергей Кравчинский, кроме железного здоровья и большой физической силы, отличался еще необыкновенной способностью ко всякому ручному труду. Он как то сразу выучивался всему, за что брался, и при этом очень любил физическую работу. Это пристрастие осталось у него на всю жизнь. Даже здесь, в Лондоне, заваленный литературной работой, он сам прокладывал газовые трубы в своей квартире, делал мебель, красил полы, двери и проч. Благодаря этой способности, Кравчинский был одним из немногих пропагандистов, ничуть не отстававших в работе от настоящих рабочих.

Еще недавно, незадолго до смерти, вспоминая об этом времени, Сергей с оживлением, с видимым удовольствием уверял, что «был, право же, хорошим рабочим. Все хвалили. Работал лучше самого Рогачева (разгибавшего подковы силача-товарища, с которым он вместе ходил «в народ»). Тот,

конечно, был сильнее, сразу больше поднимет, но не так вынослив. К вечеру, бывало совсем раскиснет, а я ничего».

Одно время он жил у молокан, распрашивал их об их вере и рассказывал им о «своей». Ему не раз случалось вспоминать о том голоде, который он там добровольно переносил. Молокане часто постятся, и пост у них заключается в том, чтобы ничего не есть по целым суткам, при чем работа продолжается, как обыкновенно.

— Можно бы, конечно, на стороне достать чего-нибудь поесть, никто бы не заметил,— рассказывал он,— но по моему это было бы безсовестно.

Во все, за что ни брался Сергей, он всегда вкладывал всю свою душу и все делал «по совести».

Для той же пропаганды Кравчинский написал и свои первые литературные произведения: «Мудрицу Наумовну» и «Сказку о копейке» [131], в которых поэтически изложил свои социалистические идеи. Странные это вышли сказки. Через 3—4 года их автор делал уже самые презрительные гримасы. когда ему упоминали о них. Но в отместку заставлял свою близкую приятельницу Эпштейн *), любившую дразнить его этими сказками, немедленно сознаться, что как они ни были плохи, а все же многие, и она в том числе, проливали над ними слезы. И в самом деле, хотя в этих юношеских произведениях автор не успел еще справиться ни с собственной фантазией, ни с идеями, ни со способом их изложения, он все же выразил что то, соответствовавшее восторженному настроению части его товарищей и способное, при первом чтении, вызвать слезы наиболее впечатлительных из женщин.

Полный жизни, которою заражал всех окружающих, художник по складу ума, идеализировавший, преувеличивавший хорошие качества своих приятелей и безмерно восхищавшийся ими, в то же время искренний, простой и ласковый, как ребенок, в своих личных сношениях с людьми, Кравчинский был общим любимцем и гордостью товарищей.

Не мудрено, что когда начались аресты, всем хотелось отправить за границу именно его. Но в то же время осесться в Европе он еще не мог. Воинственные стороны его натуры, жажда практической революционной деятельности брали в

*) Анна Михайловна Эпштейн, когда-то деятельный член того же кружка «чайковцев», ведшая в течение многих лет контрабандную переправу людей и книг через русскую границу, умерла от болезни в Вене в ноябре того же 1895 года. **Прим. В. Засулич**

нем слишком сильный перевес над задатками литературного таланта. Удержать его подольше вдали от родины могла только перспектива вооруженной борьбы за симпатичную ему цель. Участие в такой борьбе, кроме своей непосредственной привлекательности, давало также возможность приобрести военную опытность, которая, по его убеждению, могла пригодиться на службе будущей русской народной революции.

Так он участвовал в Герцеговинском восстании, предшествовавшем русско-турецкой войне, и ему, как бывшему артиллеристу, была там поручена баттарея [132].

В 1876 г. он был в Петербурге, где движение казалось сравнительно затихшим. Вновь образовавшаяся организация, прославившаяся впоследствии под именем «Земли и Воли», еще не успела тогда приобрести преобладающего влияния, а остатки чайковцев были заняты, главным образом, помощью многочисленным заключенным в тюрьмах пропагандистам. Наиболее живым делом представлялось устройство побегов из тюрем; в нем Кравчинский и принял деятельное участие.

Начало 1877 г. снова застает его за границей, в Италии, куда он взялся сопровождать одну больную приятельницу. Здесь он сошелся с группой итальянской молодежи, воспитавшейся под влиянием Бакунина и походившей во многом на русских революционеров того времени. Вместе со своими итальянскими приятелями он составил план вооруженного восстания, написал для них статью о приемах партизанской войны и вместе с ними отправился в итальянскую провинцию Беневенто, где решено было начать восстание в надежде, что к нему присоединится местное население. Эта надежда, однако, не оправдалась, и приезжие революционеры были почти тотчас же арестованы. Вместе с другими, Кравчинский просидел десять месяцев в итальянской тюрьме, из которой был освобожден в январе 1878 г. в силу амнистии, последовавшей за смертью короля Виктора Эммануила.

Переселившись в Женеву, он тотчас же принял самое деятельное участие в журнале «Община» [133], а затем с первыми номерами этого журнала и с предложением издавать подобный орган в самой России он появился в последний раз «на жгучей мостовой Петербурга», как назвал он ее в каком то из своих произведений.

Это было в мае 1878 г. Кравчинский приехал в самом радостном настроении и с твердым намерением, ни за что на свете не покидать русской борьбы «до конца».

— То есть, до ареста,— замечали ему приятели, которым он заявлял о своем решении.

— Нет, до победы! — возражал он с самой искренней уверенностью.

То, что застал он в Петербурге, могло, — в особенности, при его складе ума, — лишь усилить до последних пределов его уверенность в близкой победе. По сравнению с чайковцами, революционеры представляли теперь действительно значительную силу, отличаясь от них и в многих других отношениях.

Мы говорили о способности Кравчинского к идеализации. Но мы вовсе не хотим этим сказать, чтобы он видел в восхищавших его людях совсем не существовавшие в них качества. Он обладал, наоборот, своеобразным, но чрезвычайно тонким и быстрым чутьем, указывавшим ему верные черты, которые он затем лишь освещал таким ярким светом своего художественного восхищения, что они являлись преображенными и отчасти преувеличенными. Он был убежден при этом, что он то именно и видит своих современников в том настоящем свете, в каком они появятся в истории, а от других самая близость людей и событий скрывает их настоящие размеры. В разговорах с самыми скептическими приятелями он не раз ссылался на мемуары одной из женщин французской революции, жаловавшейся, что между ее современниками нет крупных людей, соответствующих громадности совершающихся событий.

— А, ведь, теперь, — прибавлял он — при свете истории, современники госпожи Ролан кажутся нам гигантами.

В письмах близким приятелям за границу[134], сообщая впечатления первого знакомства с новыми для него в большинстве людьми, стоявшими теперь во главе русского движения, он проводил параллель между ними и его прежними товарищами, чайковцами. Его новые знакомые кажутся ему суше, уже, одностороннее чайковцев, но за то же они и крепче их, насколько закаленная сталь крепче тонкого фарфора. По преданности делу они никому не уступят, а по упорству в достижении намеченных целей, по практичности, опытности они настолько же превосходят чайковцев, как взрослые люди детей.

Параллель была в общих чертах несомненно верна. Но главную силу этих крепких и практичных людей, в большинстве случаев нелегальных, т. е. скомпрометированных в прежних делах и живших под фальшивыми паспортами,

составляло то обстоятельство, что среди общего брожения молодежи, не менее сильного, чем во время чайковцев, они образовали из себя прекрасно организованный тайный центр, приобревший над этой молодежью почти безграничное влияние. Организация имела также связи и пользовалась хорошей репутацией среди некоторой части рабочих Петербурга, с одной стороны, и в либеральном обществе, — с другой.

Рассылая своих членов по провинциям, она стремилась подчинить своему влиянию все рассыпанные по России революционные кружки и успевала в этом. Она имела правильно действовавшую тайную типографию, беспрестанно дававшую знать о себе какой-нибудь брошюркой, листком, прокламацией, и теперь приступившую к изданию газеты «Земля и Воля». Это название, перешедшее на всю организацию и приобревшее такую громкую известность, было предложено Кравчинским.

Положение, занятое организацией, могло действительно производить впечатление значительной силы даже на человека более скептического, чем был тогда Кравчинский. Революционная партия достигла теперь всей той, правда, хрупкой, призрачной, — как показали последствия, — силы, какой только могла достигнуть партия, опиравшаяся по необходимости почти исключительно на интеллигентную молодежь и имевшая возможность рассчитывать на рабочих лишь как на второстепенный, вспомогательный отряд.

Время последнего пребывания в России едва ли не было также самым сильным, ярким, самым богатым впечатлениями временем в жизни самого Кравчинского.

Его статьи этого года в «Общине», а затем в «Земле и Воле» совсем не похожи на обыкновенные газетные статьи[13]. Это — «стихотворения в прозе», поэзия, настоящая сильная поэзия революции. За три года, прошедших с тех пор, как он писал свои сказки, Кравчинский сделал громадные успехи: формою он владел теперь прекрасно. От этих статей никто не мог бы, конечно, расплакаться. Не слезы вызывали они, это были крики торжества, предвкушение победы. При малейшей неискренности статьи в таком поднятом тоне неизбежно производят неприятное впечатление фразерства. Но в том то и была сила Кравчинского, что этот тон был в тот момент его естественным тоном, что его вера в близкое торжество партии была вполне искренняя и производила, поэтому, бодрое, хорошее впечатление.

Поэт и вместе воин, рыцарь по натуре, Кравчинский жил в это время всеми фибрами своей души, всеми сторонами своего существа. Среди революционеров в это время все более и более зрела мысль о том способе борьбы, который стал впоследствии известен под именем «террористического», о вооруженных нападениях на наиболее вредных и жестоких слуг деспотизма. Первое такое дело, предпринятое организацией,— против Мезенцова, шефа жандармов и, следовательно, главного преследователя революционеров — было поручено Кравчинскому[137].

Блистательно выполнив его среди бела дня на людной улице Петербурга[138] и избежав немедленных преследований, он продолжал жить в том же городе, как ни в чем не бывало. Теперь дело шло о его голове. Приближенные Мезенцова открыли даже общественную подписку в пользу предателя, который выдаст, или шпиона, который выследит убийцу. Ни доноса, ни специального выслеживания бояться было нечего, от этого вполне охраняла организация, но она не могла охранить от случайного ареста, от последствий собственной неосторожности, а особенной осторожностью Кравчинский никогда не отличался. Опять явилось у всех сильнейшее желание выпроводить его из России. На этот раз говорило не одно личное. а также и общественное чувство. За последнее время все удавалось революционерам и ничего не удавалось полиции: их тайная организация в этот момент была, очевидно, лучше жандармской. Никто из прогремевших за последнее время людей не был арестован. Действовавшая более года типография, несмотря на большие суммы, назначенные на ее поимку, была цела, и на «Землю и Волю», почти открыто продававшуюся в Петербурге, была даже об'явлена подписка «в местах и через лиц, публике известных». И это не было пустым хвастовством. Благодаря организации каждый из «публики», имеющий сколько-нибудь значительный круг знакомых, мог действительно добраться до лиц, имеющих отношение к «Земле и Воле», но ни в каком случае ни умышленно, ни по неосторожности не мог никого выдать. При таких условиях арест, казнь такого видного человека, как Кравчинский, была бы слишком большой удачей для правительства, подкосила бы радостную гордость партии. Всем хотелось успокоиться на этот счет. Но уговорить Кравчинского уехать добровольно в такой момент было немыслимо. Прошло несколько месяцев, пока для него придумали, наконец, поручение за границу, повидимому,

очень важное, и выполнить которое всего лучше мог именно он[139]. Кравчинский поехал в полной уверенности вернуться к выходу следующего номера «Земля и Воля», недели через три, через месяц самое большее... и уже не вернулся.

Раз он оказался в Швейцарии, друзья сумели создать ему тысячу препятствий для возвращения, обещая позвать его, когда условия будут благоприятны. Он ждал. Условия не улучшались, а становились, наоборот, все труднее.

Раз, впрочем, уже в царствование Александра III, когда большие потери, понесенные организацией «Народной Воли», — заменившей «Землю и Волю», — сделали очень важным для нее присутствие такого «старого» революционера, как Кравчинский, его позвали, обещая прислать все необходимое для возвращения[140]. Он ответил радостным согласием; но пока он ждал обещанного, в России последовала новая катастрофа, разбившая остатки старой организации и всякую надежду для Сергея скоро увидать родину.

Потянулись долгие, серые годы изгнания. Он употребил их на упорный, непрерывный литературный труд. В числе его многих выдающихся способностей была необыкновенная способность к языкам. Познакомившись с итальянским языком еще в тюрьме, он теперь написал на нем самое известное из своих произведений «Подпольная Россия», ряд характеристик выдающихся революционеров, а также некоторых сторон их деятельности, переведенную почти на все европейские языки.

Он изучил потом английский язык и, с 1884 г. переселившись в Лондон, начал писать почти исключительно по-английски. В целом ряде книг*) публицистического характера он старался ознакомить английскую публику с различными сторонами политической и общественной жизни России. Много упорного, добросовестного труда вкладывал он в эти книги, но не увлекался, не удовлетворялся ими: он в сущности насиловал для них свой талант, который тянул его в другую сторону. Эта работа казалась ему обязательной в виду поставленной им себе задачи: создать в общественном мнении Англии течение, враждебное русскому диспотизму и сочувственное русскому освободительному движению. Для этого же он читал лекции о России и писал статьи

*) «Россия под царями», «Русские грозовые тучи», «Русское крестьянство», и, наконец, последняя, недавно вышедшая книга, начатая автором тотчас после смерти Александра III, изображающая бедствия, причиненные России этим царствованием[141]. **Прим. В. Засулич.**

в газеты. И его усилия далеко не пропали даром. В бесчисленных статьях о Степняке, наполнявших английские газеты, в течение 10—15 дней после его смерти, не раз было указано на то, что своей деятельностью он повлиял на мнение о России некоторой части английского общества. Успешности его усилий содействовали также многочисленные знакомства, дружеские связи, приобретенные им в различных слоях лондонского населения. Под влиянием дошедших из Сибири ужасных известий об избиении ссыльных в Якутске, о казни неоправившихся от ран жертв этого избиения, и наказании розгами политической заключенной на Каре, Сигиды, Кравчинскому удалось даже в 1890 г. образовать из англичан небольшое общество «Друзей русской свободы», издающее до сих пор газету, посвященную русским делам[142]. Он писал также небольшие брошюры и предисловия для русского «Фонда Вольной Прессы в Лондоне»[143].

Вся эта обязательная работа мешала ему сосредоточиться на той литературной деятельности, которая доставляла ему наслаждение и где, наверное, он мог бы достичь очень много.

По крайней мере, его первое и единственное крупное произведение этого рода, роман из жизни русских революционеров, русский перевод которого издается теперь его вдовой под заглавием «Андрей Кожухов»[144], является несомненно самым значительным его произведением. Это в сущности единственное во всей русской литературе художественное воспроизведение жизни русских революционеров, сделанное человеком, знавшим эту жизнь. Действие романа схватывает именно тот момент революционной борьбы, который Кравчинский так ярко пережил во время своей последней поездки в Россию.

Хотя в каждой строчке романа чувствуется горячая нежность автора к его героям, но тех слишком сгущенных красок, того восторженного лиризма, который замечался в его юношеских произведениях, здесь уже нет. И люди, и события являются в этом романе в их настоящем свете и размерах. Это — хорошее произведение, хотя ему и пришлось писать его в самых трудных условиях: на чужом языке, воображая перед собою чужих читателей, все привычки которых так резко отличаются от русских.

После этого романа ему удалось издать лишь небольшой рассказ, да осталась неизданной одна драма[145]. Но пла-

нов относительно этого рода произведений у него было множество. Он все мечтал выгадать как-нибудь промежуток времени, свободный от всяких текущих обязанностей, чтобы целиком посвятить его художественному творчеству.

Хотя его жизнь была полна деятельности, хотя он достиг многого, тем не менее он еще не исчерпал, не развил до конца всех способностей, лежавших в его богато одаренной натуре, когда, по ужасной случайности, был убит, переходя полотно железной дороги, наскочившим поездом*).

* * *

Мы отлично знаем, что этот краткий перечень событий его жизни не дает в сущности никакого понятия о всей величине утраты, понесенной нашей революционной партией, еще меньше говорит он о живой прелести его личности. Чтобы дать ее почувствовать читателю на нескольких страницах, несколькими штрихами, для этого нужно было его перо, перо самого Сергея.

---

*) Чтобы пояснить эту случайность, заметим, что непосредственно перед открытым проходом, на котором произошло несчастие, железная дорога делает крутой поворот, и в ту минуту, когда Кравчинский переходил рельсы, поезд подошел к нему сзади, так сказать, из-за угла. Свисток был дан слишком поздно, а шум поезда не мог предостеречь Сергея. Этот шум так часто слышен в той местности, что при малейшей рассеянности не доходит до сознания, а Сергей «шел глубоко задумавшись», как показали на следствии видевшие катастрофу рабочие. **Прим. В. Засулич.**

Владимир Дегаев.

В конце января или в начале февраля 1882 г. в Женеву ко мне с Дейчем приехал Владимир Дегаев с поручением к Кравчинскому[146]. Кравчинский был в Италии. По тогдашним итальянским условиям, его, как убийцу[147], могли выдать; его адреса, поэтому, не знал никто, кроме 2-3 его ближайших друзей. Приезжему юноше мы с Дейчем не только не дали адреса, но даже не сказали, что Кравчинский в Италии. Он тотчас же примирился с невозможностью видеть Кравчинского и не задавал никаких вопросов.

Симпатичный и совсем не застенчивый, он быстро познакомился со многими эмигрантами, но прилепился к Дейчу и то с ним, а иногда и один почти каждый день заходил ко мне.

На вид ему никто бы не дал больше 16 лет[148]. Росту он был среднего, на детски чистом лице не было и тени растительности; в глазах и в манере держать себя было еще что-то детское. Дейч прозвал его «Бебе», он не протестовал и даже записки подписывал «Ваш Бебе». Если его спрашивали, сколько ему лет, — а этот вопрос всем приходил в голову,— он на разные манеры отшучивался от ответа, пока не явился раз со свертками в руках и об'явил, что теперь скажет, сколько ему лет: сегодня ему минуло 18, а раньше совестно было сознаться: 17 совсем неприличный возраст, а 18 — все таки ничего.

Обедал Володя в знаменитом среди эмигрантов кафэ Грессо, где в кредит — по большей части — столовалась большая часть тогдашней эмиграции. Там же обедала Анна Михайловна Эпштейн, знавшая в Петербурге семью Володи, о которой отзывалась с большой нежностью, как о людях, относившихся к революционерам с каким то благоговением, с радостью готовых на всякую услугу. Вообще заботливая

«Анка», как мы, близкие, звали Эпштейн, с заботой смотрела и на Володю. Она нашла, во-первых, что он тратит сравнительно много денег, накупает лакомства и всех угощает, а затем она и другие заметили, что вслед за Володей около Грессо появились подозрительные суб'екты и видимо за ним следят. У Анки явилась такая гипотеза. Родные Володи, люди очень небогатые, не могли послать его за границу, да еще с лишними деньгами; вероятно, послала его организация с каким-нибудь поручением, требующим затрат — купить что-нибудь или, может быть, зовут Сергея[149] в Россию, и деньги ему послали, а Володя, не найдя его, деньги транжирит и еще ухитрился каких-то шпионов себе прицепить. Она негодовала не на Володю, а на предполагаемых старших, которые послали с серьезным поручением такого «недолизанного медвеженка». Но она видала Володю только у Грессо, в большой пестрой компании. У меня же сложилась о нем другое впечатление, не мирящееся с ее гипотезами.

Несмотря на всю свою чрезмерную юность, когда он говорил о чем-нибудь, касающемся «Народной Воли», чувствовалось, что это не птенец, посматривающий на дело из туманной дали, а настоящий радикал, уже имеющий совершенно конкретное представление о положении народовольчества, относящийся к делу очень серьезно и отдавшийся ему целиком.

Я передала Володе Анкины наблюдения, но умолчала разумеется, о гипотезах. Насчет трат Володя тотчас же согласился, даже не давши договорить:

— Совершенно верно, — я уж и то хотел вас просить спрятать мои деньги и выдавать мне только на самое необходимое. Я очень люблю сладкое, особенно пастилу, а когда куплю, конечно, я угощаю.

Скоро после этого пришел ко мне Дейч, и сразу об'явил:

— Знаешь, наш Бебе,— агент Судейкина,— второй Клеточников!

— Что за ерунда!

— Вот увидишь, он сейчас придет и сам расскажет[150].

Я сказала, что ему и самому не поверю. Но пришел Володя, начал рассказывать и пришлось поверить.

Не совсем так, как рассказано у Корбы [151], сообщил Володя об обстоятельствах своего притворного союза с Судейкиным. Я отчетливо помню его рассказы: своей странностью,

своей жестокой нелепостью эта история произвела на меня сильное впечатление. Да и не раз говорил об этом Володя...

При освобождении от какого то пустячного ареста[152], Судейкин предложил ему поддерживать с ним сношения: о предательстве не может быть и речи, — об отдельных лицах он его и спрашивать не желает: ему необходимо знать о взглядах революционеров на положение дел, об их ожиданиях, об изменениях настроения. Володя отказался от этих собеседований, не ему, таким образом, пришло в голову превратиться в Клеточникова. Смеясь над предложением Судейкина, он рассказал о нем в семье. Только старшим, народовольцам[153], мнение которых было для него законом, пришло в голову использовать, таким образом, предложение Судейкина.

Володя с полной готовностью взялся за эту миссию и заявил Судейкину, что, подумавши, соглашается на его предложение. При первом свидании речь опять шла преимущественно о том, что ни прямо, ни косвенно, сношения с ним Володи не поведут к аресту кого бы то ни было. Судейкин с большим чувством давал в этом свое честное слово. При одном из первых же свиданий он предложил денег, Володя отказался. «Без денег я себя лучше с ним чувствовал», — пояснил он. Но старшие нашли, что отказ от денег внушит недоверие Судейкину и велели взять: Володя опять отправился заявлять, что по зрелом размышлении изменил свое мнение.

Не помню, какое содержание назначил ему Судейкин — цифра, во всяком случае, не поражала своими размерами ни в ту, ни в другую сторону.

— А как вы об'ясните своим родным появление у вас лишних денег? — поинтересовался Судейкин.

Володя сказал, что еще не придумал об'яснения. А Судейкин уже придумал:

— Скажите, что нашли переводную работу: я вам дам одну книгу, — будете переводить понемногу.

И, действительно, дал, — Володя назвал ее, — книга совершенно нейтральная, приличная, которую всякий взял бы переводить, нуждаясь в заработке.

Затем пошли свиданья довольно частые. Слушая рассказы о них Володи, я не замечала, чтобы они были для него тяжелы. Судейкин, повидимому, заботился о том, чтобы этого не было. Впоследствии он завел себе целую коллекцию таких притворных и непритворных агентов из среды

революционеров, но возня с Володей была, повидимому, его первой, во всяком случае одной из самых первых попыток в задуманном направлении. И он занимался ею осторожно, старательно, с любовью к делу, так сказать. Что до тех пор никакой пользы из его разговоров с Судейкиным не получилось, это Володя, конечно, знал и не умел (быть может, не хотел, но едва ли) привести ни одного соображения относительно возможной пользы в будущем; но его революционная совесть была спокойна: дело старших принимать решения,—он и говорил то с Судейкиным не иначе, как под диктовку старших. Из-за этого он и нам с Дейчем открыл свою тайну, — с этого и начал.

Настоящих, действовавших народовольцев,—«агентов Исполнительного Комитета» — в начале 1882 года за границей не было. Лишь в марте или в апреле, кажется, приехала Марья Николаевна Ошанина. Отправляя Володю, старшие (мне помнится, он назвал Грачевского) направили его к Кравчинскому, ему должен он был открыться и с ним намеревался советоваться. Но Кравчинского он не нашел и не искал после первого же нашего ему отказа в адресе.

Между тем пришло письмо от Судейкина с вопросами о заграничных впечатлениях [164]. С кем посоветоваться? Мы были для него чужими старшими, но в это время мы находились в самых дружеских отношениях с «Народной Волей» (я даже в обязательных — по «Красному Кресту» [165]), и он решил открыться нам [166].

Но, видно, тяжело было юному созданью носить свою тайну без единого человека, с которым можно было бы поговорить о ней. После признания, его точно прорвало: несколько дней он ни о чем говорить не мог, кроме своих сношений с Судейкиным.

Судейкин, кажется, кокетничал с Володей, старался очаровать его. На свиданиях он сам говорил едва ли не больше, чем заставлял говорить Володю. Я слыхала рассказы о Судейкине не от одного Володи, и мне, поэтому, трудно отделить, что я слышал от него и что — от других. Уверена лишь в тех разговорах, где помню Володины ответы на слова Судейкина или его соображения по их поводу. Живо помню, например, такой рассказ.

Судейкин внушал Володе, что он мог бы заставить забыть свою крайнюю молодость и подняться на высшую ступень в революционной организации, если бы высказы-

вал свой революционный энтузиазм, говорил о своей жажде пострадать за дело, пожертвовать за него жизнью.

— Я ответил ему, — говорил Володя, — что этим я достиг бы как раз обратного: меня бы только осмеяли. Свой энтузиазм революционеры проявляют на деле, но никогда о нем не говорят, они ненавидят всякое фразерство.

Судейкин выразил по этому поводу свой восторг перед революционерами. Он, вообще, не скупился пред Володей на этот восторг и пред революционерами, и пред деятельностью, — не пред целью ее и не пред результатами, конечно, а пред самым процессом деятельности. «Какая это чудная, интересная жизнь с вечными конспирациями, приключениями, опасностями!». Если ему нравится его собственная деятельность, то только тем, что в ней тоже много и приключений, и опасностей.

Если Судейкин хотел понравиться Володе, то до некоторой степени он этого достиг: Володя считал его очень умным, смелым, изобретательным.

— Сколько бы он мог сделать, если бы был революционером! — помечтал раз Володя.

Мне приходило в голову, не в эту ли западню думал Судейкин загнать Володю? Зачем возился он с ним несколько месяцев? С первых же свиданий ему должно было стать ясным, что ни деньгами, ни угрозами из Володи предателя не сделаешь [157], да Судейкин и не пытался его запугивать. И пробалтываться Володя мог меньше, чем иной взрослый. Именно сознание своей чрезмерной юности мешало ему пускаться в плавание за своей ответственностью.

Конечно, и Дейч, и я с первого же дня начали убеждать Володю отказаться от своей нелепой, опасной миссии. Мы ему советовали остаться на время за границей, а потом вернуться в Россию нелегально. Володя не пускался в споры и противопоставлял всем убеждениям только одно:

— Не могу я этого, — нельзя... [158]

Раз помню, в сумерках, Володя опять разговорился о Судейкине.

— Вот вы говорите, что он умен, — сказала я. — Предположим, что вы также умный, но он, по меньшей мере, вдвое старше вас, в десять раз больше людей видал и лет 10 только о том и думает, как революционеров уловлять, — ну как же можно допустить, чтобы при этих условиях вы из него пользу извлекли, а не он из вас? Что мы с вами

не можем придумать, каким образом он ее извлечет, это ничего не значит. Мы не можем, а он уж, очевидно, придумал: ведь он же изобретателен[159].

Я зажгла свечу и тут только взглянула на Володю: его лицо выражало страдание, вздрагивающие губы что-то шептали.

— Что? — переспросила я.

— Если так, если он... я убью его, — шептал Володя.

После этого у меня духа не хватало продолжать мучить его такими речами, да и действительно, решить сам, не спросясь своих старших, он не мог.

Весной Володя уехал в Париж, — там в это время уже была Мария Николаевна Ошанина[160]. Оттуда он скоро известил нас, что уезжает в Россию.

Летом приехал Тихомиров. Я спросила его о дальнейшей судьбе Володи и помню его ответ с буквальной точностью, — очень удивил он меня.

— Приехав из-за границы, — рассказал Тихомиров, — Володя по прежнему явился к Судейкину[161]. Тот встретил его словами: «Полноте, Владимир Петрович, довольно мы с вами друг друга морочить старались! Ни вы мне никогда не верили, ни я вам, — так лучше перестанем», — и отпустил Володю без всяких последствий. Сергей Кравчинский, когда я рассказала ему об этом, даже похвалил Судейкина.

— Это зверь, конечно, тигр, — сказал он, — но не гиена, не волк, который и тогда режет добычу, когда она ему не нужна[162].

„Вольное слово" и эмиграция.

Давно уже длится полемика о происхождении издававшегося 30 лет тому назад журнала «Вольное Слово», и, в связи с занимающим их вопросом, авторам нередко приходилось говорить мимоходом о политической эмиграции того времени. В ноябрьской книжке «Русской Мысли» за прошлый год, г. Кистяковский посвятил даже отношению эмиграции к «Вольному Слову» целое якобы исследование, обставив его обширными цитатами из тогдашней литературы[164]. Но тут-то именно у г. Кистяковского и получилась такая фантастическая картина, что у меня-эмигрантки, прожившей в Женеве все время, пока выходило «Вольное Слово», — явилась потребность заступиться за истину. Не успев немедленно же удовлетворить ее, я попытаюсь сделать это теперь.

Г. Кистяковский, с документами в руках, изображает ожесточенную травлю, поднятую революционной эмиграцией против «Вольного Слова» чуть не с момента его появления, и видит причину этого ожесточения в конституционном направлении нового журнала и его выступлениях против террора.

Изложение г. Кистяковского имеет так много признаков внешней убедительности для каждого незнакомого с эмиграцией начала 80 годов, что даже г-жа Прибылева, прекрасно знающая революционную среду того времени, но не бывавшая за границей, не усумнилась в подлинности «травли» и не смогла примириться лишь с об'яснением ее причин, даваемых г. Кистяковским *).

Г-жа Прибылева справедливо возражает ему, что несогласием во мнениях нельзя об'яснить такой единодуш-

*) «Историческая справка» в «Русск. Богатстве» за март 1913 г.[165].

7*

ной вражды, тем более, что, по словам самого же г. Кистяковского, травля началась раньше, чем «Вольное Слово» успело проявить себя на почве борьбы с террором, или защиты конституции. Должна была существовать другая причина, говорит г-жа Прибылева, и ищет ее в сохранившихся в ее воспоминании данных о том, что, по сообщениям Клеточникова, еще в 1880 году министерство внутренних дел, при помощи III отделения, выработало проект основания в Женеве газеты конституционного направления для борьбы с революционерами, а позднее, но в том же 1880 году, от того же Клеточникова стало известно, что газета эта будет называться «Вольное Слово», и что лицо, посланное для издания газеты, уже ведет в Женеве переговоры с Драгомановым. Тотчас же после этого второго сообщения «Исполнительным Комитетом» было отправлено Драгоманову письмо с предупреждением о том, кем и для чего основывается газета, но Драгоманов не придал извещению никакой цены. Такое же извещение было одновременно послано и Лаврову. Г-жа Прибылева предполагает, что этот план, почему-то не осуществившийся в 1880 г., был приведен в исполнение в 1881 г. изданием «Вольного Слова». Таким образом,— говорит в заключение г-жа Прибылева,— сообщения Клеточникова и оповещение о них, исходившие от Комитета, служили первоисточником тех взглядов на «Вольное Слово», которые установились в эмигрантской среде еще ранее, чем газета стала выходить в свет.

Само по себе зарождение такого плана будущего органа в недрах министерства внутренних дел ничуть не кажется мне более невероятным, чем целая масса других, накопившихся вокруг «Вольного Слова», фактов и предположений, в особенности если допустить, что забытое г-жей Прибылевой имя лица, ведшего переговоры в 1880 г., было не Мальшинский, а какое-нибудь другое [166].

Но я знаю наверное, что сведения «Комитета» о полицейском происхождении «Вольного Слова» не проникали в среду эмигрантов ни через Лаврова, ни иным каким либо путем.

О Мальшинском, но только о нем, о его прошлом, без всякого указания на происхождение «Вольного Слова», мы,— чернопередельцы,— действительно, получили известие из народовольческого источника. В конце 1881 или в начале 82 года, товарищ, уехавший в Россию и там присоединившийся к «Народной Воле» [167], написал нам, что по имею-

щимся у партии сведениям, Мальшинский служил в III отделении и что об этом следует сообщить Драгоманову. Товарищ сделал это с ведома своих новых товарищей, но не по поручению «Исполнительного Комитета», а по собственной инициативе, из доброжелательства к Драгоманову. Я сообщила это известие Драгоманову, и он, без малейшего удивления, совершенно спокойно, ответил мне, что давно знает, что Мальшинский, действительно, служил (или «работал»... не помню, как он выразился) в архиве III отделения, но ни к какому сыску не имел ни малейшего отношения [168].

В дальнейшем разговоре Драгоманов сказал мне, что «Вольное Слово» не его орган (как многие думали) и не Мальшинского, а... я не помню, сказал ли Драгоманов «земского союза» или просто «земцев», но нечто земское, во всяком случае, было упомянуто. Я и теперь живо помню мину Драгоманова, когда в ответ на мое замечание, что в вышедших номерах «Вольного Слова» нет ничего или почти ничего о земстве, он, чуть-чуть улыбаясь и пожав плечами, ответил: «Да что же наше земство! Что с него взять».

Из этого разговора я вывела то заключение, что беспокоиться насчет Мальшинского нет никакой надобности, так как Драгоманов, очевидно, знает, в чем тут дело, и не беспокоится. Такое заключение вывела не только я, относившаяся к Драгоманову с большой симпатией, но также и Дейч, бывший с ним в ссоре.

Никому, кроме близких товарищей, мы о Мальшинском не рассказали, и сведения о нем, напечатанные позднее в «Общем Деле», шли не от нас [169]. Доверие не к одной только политической честности Драгоманова, но также к его уму, практичности, наблюдательности, заставляло допускать, что Мальшинский служил в III отделении с целями, чуждыми этому учреждению, и остался честным человеком. В тот момент мысль мирилась с таким предположением легче, чем в другое время. Свежо было еще впечатление спасительной миссии Клеточникова, и мы знали, как усиленно пытаются народовольцы найти ему заместителя. В это именно время чуть не ежедневно заходил ко мне тогда в Женеве Владимир Дегаев. К его-то миссии я относилась самым отрицательным образом, и мы с Дейчем употребляли все силы, чтобы уговорить «Володю» порвать с Судейкиным и остаться за границей.

Правда, Клеточниковы спускались в преисподнюю, чтобы

спасать товарищей. Такой цели не могло быть у Малышинского, но и архив место менее глубокое.

Чем же об'ясняется единодушная «травля», поднятая эмиграцией против едва появившегося «Вольного Слова», о которой говорит г. Кистяковский?

Ее просто не было[170]. Г. Кистяковский сам себя обманул, знакомясь с занимавшим его вопросом по беспорядочной куче печатного материала, половину которого серьезная часть эмиграции почти не читала даже тогда, когда он появлялся. Г. Кистяковскому кажется, что этот материал, собранный им с целью выяснения «ошибок» г. Богучарского, интересен и сам по себе, «так как представляет чрезвычайно интересную страницу из истории борьбы представителей крайних революционных направлений и партий *) с чистыми конституционалистами».

Г. Кистяковский знает, что газета «Общее Дело», которую он цитирует, ставила своей главной задачей борьбу за политическую свободу, но он совершенно не знает положения этой газеты среди эмиграции. Начала она выходить в 1877 году, когда никто в эмиграции о политической свободе еще не думал. Стало «Общее Дело» в сторонке, да так и осталось. Никто на него не сердился, никто не считал зазорным поместить в нем то или другое заявление, раз это было нужно, а своего органа не было, но в общем ни сторонников, ни противников в революционной эмиграции у него не имелось. Его негласного редактора, жившего на юге Франции, доктора Белоголового — никто не знал. Поведение «Общего Дела» по отношению к «Вольному Слову» всего легче было бы об'яснить при помощи «Исторической справки» г-жи Прибылевой, если бы и эта «справка» отвечала действительности. Почему, в самом деле, всегда скромное, осторожное «Общее Дело» вдруг в первом же №, вышедшем после появления «Вольного Слова», задает новому органу ехидный вопрос: как относится он к графу Игнатьеву? И затем настойчиво внушает своим читателям ту мысль, что «Вольное Слово» является органом министра внутренних дел Игнатьева. Но если допустить, что план издания конституционного журнала в Женеве был выработан в министерстве внутренних дел еще в 1880 году, при Лорис—Меликове, то об'яснение само собой напрашивается. Осенью 1881 г. опальный сановник жил за границей, и, естественно, с первого же

*) Курсив мой. Прим. В. З.

взгляда на новый журнал должен был узнать в нем осуществление выработанного при его министерстве плана и приписать это осуществление своему врагу и преемнику графу Игнатьеву. А доктор Белоголовый лечил Лорис—Меликова и находился с ним в приятельских отношениях. Как бы там ни было, но выступление «Общего Дела» нельзя ни в каком случае поставить на счет революционным направлениям и партиям, ибо они просто-таки пропустили эти выступления мимо ушей.

Свои подозрения «Общее Дело» — по внешности, по крайней мере,—выводило из анализа содержания «Вольного Слова», из его резкого отношения к павшему Лорис—Меликову и снисходительно находящемуся у власти Игнатьеву. Если бы мы знали, откуда черпает «Общее Дело» свои рассуждения, мы ими, вероятно, заинтересовались бы; а так казалось, что — хорошие, конечно, люди Христофоров и Зайцев (гласные редакторы журнала), но откуда им знать, когда какого министра и какими словами обругать следует? За Лорис—Меликова мы не обижались и в придворную политику не вникали.

Приблизительно таким образом отнеслось к походу «Общего Дела» и основное гнездо эмиграции, как таковой: группа старожилов, поселившихся в Швейцарии в 60-х годах, Жуковский, Эльсниц, Жеманов, около которых ютились и другие бесприютные эмигранты. В руках этой группы было эмигрантское общество с его кассой , они же улаживали отношения эмигрантов с женевскими властями. По своим воззрениям старожилы были анархистами того времени, когда с представлением об анархии не было еще связано ни бомб, ни выстрелов, ни даже вообще какой-нибудь определенной тактики.

Вообще в первое время «Вольное Слово» казалось неинтересным, но и только; его враждебность к террору не замечалась. Часто цитированные потом строки из статьи Мальшинского в № 8 относительного уголовного характера взрыва полотна жел. дор. под Москвой и кордегардии Зимнего дворца не сразу обратили на себя внимание [172].

Никто из представителей революционных направлений и партий не отозвался на подозрение, высказанное «Общим Делом», но заговорил Алисов [173].

Повторив в более категорической и хлесткой форме обвинение, высказанное «Общим Делом», и прибавив кое-что от себя, Алисов пишет в заключение фразу, удостоенную в

цитате г. Кистяковского курсива: «В несколько минут террористы сделали то, что не могли бы сделать во сто лет наши пресмыкающиеся смиренные либералы»».

На основании этой фразы, да одного нелепого мнения Зайцева [174], г. Кистяковский решается на такое философско-историческое обобщение: «Но бывают исторические моменты, когда именно такие (как Алисов и Зайцев) люди, а иногда даже просто маниаки и психопаты, становятся во главе политических движений и создают общественное мнение. Приблизительно такой момент и переживала в то время русская политическая эмиграция».

Вот до чего доводит желание написать страницу из истории эмиграции, не зная о ней ровно ничего, кроме груды макулатуры за один год и по одному вопросу. Хочет человек характеризовать, на основании собранного им материала, борьбу представителей крайних партий и направлений против конституционалистов, а как на зло, в огромном большинстве случаев авторами самых «интересных» цитат являются все люди, ни партий, ни направлений не представлявшие, а в иных случаях и ровно ничего не представлявшие. Взять хоть бы Алисова. Жил он себе в прекрасной вилле на берегу Средиземного моря, ни одного революционера, кажется никогда в глаза не видел, но имел одну манию — писать брошюры. Сотни он их написал за восьмидесятые годы. В литературную критику редко пускался, больше писал о министрах, а самой любимой его темой был один физический недостаток Победоносцева. Человек он, должно быть, добрый, и наши голодные наборщики радовались его заказам, так как платил он хорошо, но распространять его произведения и они не решались. Никто их не продавал, не читал, и не было, мне кажется, ни одного эмигранта, который не обиделся бы, если бы его сравнить с Алисовым, как писателем, а г. Кистяковский взял да и поставил его «во главе». Так пишется история!..

За Алисовым у гр. Кистяковского следует Черкезов. Об его брошюре [175], как одном из проявлений борьбы партий и направлений с чистыми конституционалистами, можно, я думаю, не говорить. Сам г. Кистяковский сообщает, что вдова М. П. Драгоманова писала ему, что эта брошюра весьма скоро после появления была изъята из продажи и уничтожена. Г. Кистяковский думает, правда, что эмигранты обманули Драгоманова, так как брошюру «и теперь легко приобрести за одну или две марки». Но припомнив, как не легко и

не дешево приобретаются те издания, которых лет тридцать тому назад никто не уничтожал, а все читали, г. Кистяковский быть может понял бы, что самая легкость приобретения брошюры Черкезова доказывает, что в свое время она была «уничтожена» тем единственным способом, каким это было удобно. Разумеется, ее не сжигали, а просто свалили в каком-нибудь углу, где лет через двадцать ее и открыл какой-нибудь предприимчивый господин и пустил в продажу в качестве старого курьеза.

За цитатами из брошюры Черкезова г. Кистяковский перепечатывает целую статью из газеты «Правда» [176], в виду ее «чрезвычайно интересного и характерного содержания» [177]. К картине «борьбы с чистыми конституционалистами» статья прибавляет драгоценные черты. Она направлена против «Вольного Слова». Его влияние пагубно, мол, потому, что народное представительство, даже самое жалкое, вырвет почву у социальной революции, обеспечит государству внешнее могущество и внутреннее преуспеяние, примирит буржуазно-либеральные слои общества с существующим социальным строем и отсрочить на неопределенное время назревшую социальную революцию. Потому-то конституционализм должен быть признан ядом для нашей интеллигентной молодежи, а проповедники—Иудами.

Может показаться, что «Правда» своеобразным образом конституцию проповедует.

Эмигранты не сразу догадались о провокаторском характере «Правды», но что это издание нелепое, странное, чуждое какому бы то ни было направлению в России — это почуяли с первых же номеров. Ведь в то время поле революционного движения было так не велико, что каждый, пробывший два-три года в той или другой нелегальной организации, знал его вдоль и поперек.

Г. Кистяковский выслушал два компетентных и независимых одно от другого показаний: Лаврова в книге г. Богучарского *) и Драгоманова, которые приводит сам **), о том, что «Правда» никакого влияния не имела [178], но г. Кистяковский все-таки думает, что она оказывала некоторое время влияние на общественное мнение русской политической эмиграции. Заключает он это из того, что в ней сотрудничали такие революционеры как Сидорацкий, Григорьев и

*) «Из истории политической борьбы», стр. 344.
**) «Страницы прошлого», стр. 37—38.

Черкезов. Говорить о влиянии таких юродствующих эксцентриков, как Сидорацкий и Григорьев, можно лишь с тем же основанием, как и о главенстве Алисова. Другое дело Черкезов. Влияния не имел и он, но его все знали в эмиграции и относились к нему дружелюбно. Мне кажется, что на нем разочарование в Драгоманове отозвалось сильнее, чем на ком бы то ни было.

Когда летом 1878 года я приехала в Женеву, Драгоманов стоял в центре эмиграции. К нему первому вели каждого вновь приехавшего; у него по воскресеньям собиралась чуть не вся эмигрантская колония *): он принимал деятельное участие во всем, касавшемся эмиграции. Его крайний «федерализм с автономией земских единиц, начиная с общины», казался близким к анархии. Анархист Черкезов, дававший уроки дочери Драгоманова, был завсегдатаем в его доме, своим человеком в его семье, и относился к нему с величайшей преданностью и уважением, не сомневаясь в его анархизме. В его позднейшем отношении к Драгоманову сказалась, повидимому, кроме прямолинейности и кавказской горячности, еще и оскорбленная преданность. После неудачи с опубликованием брошюры, он сунулся, очертя голову, в нелепую «Правду», потом исчез куда-то, кажется на Кавказ ездил.

Длинной цитатой из «Правды» кончается часть страницы из истории борьбы с конституционалистами на которой г. Кистяковский, вместо представителей революционных партий и направлений, цитирует авторов, либо никого не представлявших, либо представлявших нечто совершенно отличное.

У него остается еще два документа, действительно принадлежащих представителям двух направлений: наше «Открытое письмо Драгоманову», вышедшее в мае 1882 года [180], и библиографическая заметка в «Календаре Народной Воли», появившаяся на год позднее [181].

Сам г. Кистяковский признает, что враждебного отношения к конституционализму «Вольного Слова» в

*) Г. Кистяковскому она представляется, повидимому, гораздо многочисленне, чем была на самом деле. Он думает, что под протестом против «Правды» подписались «наиболее видные представители русской эмиграции». («Р. М.» № 11, 1912 г., стр. 64). На самом деле, протест против «Правды» был выработан на общеэмигрантском собрании, и подписались под ним все присутствовавшие 26 человек, видные и невидные [170].

Календаре не замечается. Вся несомненная враждебность отзыва вызвана борьбой этого органа с «социально-революционной партией» и, главным образом, характером этой борьбы. «Не довольствуясь,— говорит автор (повидимому, сам Тихомиров),— критикой ее деятельности, «Вольное Слово» нередко старается ронять репутацию социально-революционной партии совершенно несправедливыми и голословными обвинениями».

«Голословными и совершенно несправедливыми обвинениями» было вызвано и наше «Открытое письмо г. Драгоманову». Г. Кистяковский говорит, что оно было подписано «вождями чернопередельцев, самою сплоченной и в известном смысле самою влиятельною группою среди тогдашней русской политической эмиграции»; в другом месте своей статьи он сообщает, что «письмо это направлено больше против Драгоманова, как федералиста-украинца и противника централистических революционных партий, чем против него, как ближайшего сотрудника, а позже редактора «Вольного Слова». Но из всех перечисленных г. Кистяковским печатных проявлений борьбы с чистыми конституционалистами наше письмо оказалось единственным «документом», из которого он не привел ни строчки. В виду такого упущения со стороны г. Кистяковского, я приведу здесь все существенное из нашего письма сама. В этом письме нами были формулированы Драгоманову вопросы по пунктам, которые буквально гласили следующее:

«Мы уверены,

Что, указывая на «сравнительно большой процент предателей во всех русских политических процессах последнего времени» (курсив здесь и далее подлинника), вы, единственно по недостатку места, не объяснили, с какой именно эпохой и каким именно движением сравниваете вы современное русское движение; теперь мы надеемся, что вы выскажетесь обстоятельнее.

Что вы не откажетесь назвать те действующие в России революционные кружки, которые сделались известны вам «мелочной грызней, интригами, взаимными обманами и клеветой».

Что вы укажете на известные вам случаи «истребления и умышленного запрятывания публикаций, изданных не нашими».

Что для большей «поучительности» вы не откажете объяснить, на чем основываете вы вашу уверенность в том, что

«Гольденберг по принципу в качестве социалиста-народника» убивал «политиков-террористов откровениями перед Лорис—Меликовым».

Что вы не оставите своих читателей в неизвестности относительно того, в каких именно «кругах» видите вы «признаки своего рода придворных нравов» и каким образом узнали вы о существовании этих нравов.

Что вы потрудитесь назвать тех из «вчерашних федералистов и анархистов», которые обратили на себя ваше внимание своим «безмолвием и поддакиванием централистической государственности» Исполнительного Комитета, «стремлением помазаться его славою и т. п.».

Вам известно, милостивый государь, при каких условиях живут и действуют социалисты-революционеры в нашем отечестве. Вы знаете, что нападки и обвинения сыплются на наших товарищей со всех сторон, и не пожелаете присоединиться к хору тех, которые посылают им упреки, не заботясь об их основательности.

Мы уверены поэтому, что вы удостоите нас ответом на поставленные нами вопросы...

С своей стороны мы употребим все усилия для выяснения истинного значения приводимых вами примеров» *).

Это «открытое письмо» Драгоманову было подписано Аксельродом, Бохановским, Дейчем, Плехановым и мною.

Ответ со стороны Драгоманова не последовал [182].

Теперь пусть скажет г. Кистяковский,— есть ли в этом «документе» хоть гран вражды к Драгоманову за его «конституционализм»? Так пишет г. Кистяковский свое исследование...

Содержание дальнейших выходок «Вольного Слова» по адресу социалистов стерлось из моей памяти, но я живо помню, что они были.

Одну из них напомнил мне г. Кистяковский, перепечатав в «Страницах прошлого» часть статьи из 41 номера «Вольного Слова», начинающуюся «циркуляром» Судейкина об «активном воздействии на революционную среду» [183]. Приведем пункты этого «циркуляра».

1) «Возбуждать помощью особых активных агентов ссоры и распри между различными революционными группами.

*) Календарь «Народной Воли», стр. 174—175.

2) Распространять ложные слухи, удручающие и терроризирующие революционную среду.

3) Передавать через тех же агентов, а иногда помощью приглашений в полицию или кратковременных арестов, обвинения наиболее опасных революционеров в шпионстве».

Затем в статье говорится, что Судейкин, «выдавая себя за чернопередельца», собирается издавать «Черный Передел» и уже начал печатать подделку № 10 «Народной Воли». А потом, вслед за приглашением к джентльменству, могущему парализовать козни Судейкина, говорится: «Чтобы наши слова были более понятны малопосвященным, мы намекаем на некоторые подробности. *Нам известны примеры не только заподозревания, но даже убийства заподозренных по весьма недостаточным основаниям*». (Курсив мой).

Известие было бы «удручающим», но, к счастью, всем известно, что с начала 1881 года по инь 1882 г., когда вышел № 41 «Вольного Слова», за исключением Прейма в Петербурге, ни один шпион или предатель убит не был. Не до них было в ту пору Исполнительному Комитету.

Мне кажется подозрительным и самый «циркуляр». Я не уверена, что он предназначался для руководства чинам полиции, а не для чтения революционерам [184]. Судейкин, разумеется, и на революционеров клеветал, и слухи распускал по мере сил и возможности. Он, вероятно, обсуждал все это со своими ближайшими помощниками, но зачем тут циркуляр? Все это такие вещи, которые требуют особых приемов, индивидуальной отделки в каждом отдельном случае; едва ли Судейкин был слишком высокого мнения о полицейских умах, кроме своего собственного. А с другой стороны, он давно уже приискивал себе Дегаева, щедро рассыпая приглашения в сотрудники, и хватался то за того, то за другого, пока не напал на настоящего. Ловко распространенный в революционной среде «циркуляр», свидетельствующий устами самого Судейкина о его намерении «выдавать опасных революционеров за шпионов», мог послужить хорошим прикрытием действительному предателю. Вспомним, сколько пользы извлек Азеф из этой идеи.

Что «циркуляр» попал на страницы «Вольного Слова» по желанию самого Судейкина — это, разумеется, только мое предположение, но, что кто-то, и по всему вероятно именно Судейкин, «запускал лапу» не в одни только «революционные организации в России», а также и в конституционный орган

«Вольного Слова» в Женеве, это для меня несомненно. Непонятно только, какими способами ухитрялся он это делать[186]. Мальщинского, кто бы он ни был, для этого мало. Как бы сильно не доверял Драгоманов его порядочности, он не мог считать его, маленького литератора, живущего в Женеве, лицом, достаточно осведомленным в полицейских тайнах. Сведения должны были приходить из Петербурга и притом от лица, или лиц, которых — при полнейшем доверии к ним — Драгоманов считал стоящими в таком положении, при котором полиция не может их обманывать.

Вспоминается мне такой случай. Это было кажется, осенью 82 года. Отношения с Драгомановым настолько испортились, что при встречах на улице мы едва кланялись, а чаще старались не замечать друг друга. Но раз Драгоманов неожиданно остановил меня на улице и сообщил мне только что полученное им очень неприятное для нас известие об одном будто бы факте[186]. Успокоила себе я тем, что с одной стороны, известие было совершенно невероятное, а с другой — я вообще изверилась в правдивости Драгомановских известий из мира революционеров. Поэтому, ни минуты не колеблясь, я сказала Драгоманову, что известие ложно, что его обманывают. Он заявил, что вполне уверен в правдивости своего корреспондента.— Тогда вашего корреспондента кто-то обманывает,— сказала я, и на этом разговор оборвался.

Поговоривши с Дейчем, мы нашли, что этого мало, что надо бы попытаться узнать источник известия, или хоть убедить Драгоманова потребовать от своего корреспондента каких-нибудь доказательств верности сообщения известия. Я письмом попросила Драгоманова прийти в кафе. Он пришел, указать источник сообщенного известия отказался, но обещал списаться со своим корреспондентом и сообщить его ответ. Проходили месяц за месяцем, ответа не было. Так как Драгоманов своего известия не распространял, то я и не тревожила его вопросами. Затем мы сочли окончательно известие ложным.

Прошло 2 или 3 года. Давно прекратилось «Вольное Слово». Уже не было в живых Судейкина. Раз я была у кого-то из русских в одном пансионе, где несколько номеров было занято соотечественниками, сплошь легальными, приехавшими на короткое время. В номер, где я была, зашла из другого номера одна знакомая и увела меня к себе, сообщив, что у нее сидит гость, который рассказывает

любопытные вещи. По ее приглашению гость (хорошо одетый молодой человек лет под 30) возобновил свой рассказ об интересном уроке, который ему попался.

Шувалову *), по случаю закрытия «охраны», после этого закрытия было приказано «заболеть». Он не показывался в свете, поселился за городом и взялся за изучение не то химии, не то физики, а в учителя к нему попал по рекомендации своего профессора рассказчик.

Первое время его ученик действительно занимался, а, познакомившись ближе, стал проводить все больше и больше времени в разговорах. Он передавал что-то из этих разговоров о том, как охрана хотела добиться конституции,— но ничего поразительного в его передаче должно быть не было, так как никаких подробностей у меня не осталось в памяти, или их вытеснил следующий эпизод, заинтерсовавший меня сильнейшим образом и запомнившийся мне во всех подробностях. Раз во время урока было получено письмо. Ученик тут же прочел его и заговорил по его поводу.

— Письмо от Драгоманова, просит доказательств, а сами посудите, какие могут тут быть доказательства. Я встретился на одном обеде с Судейкиным; он, по обыкновению, принялся рассказывать эпизоды из своей практики. Кое-что из его рассказов я написал Драгоманову, а он рассказал эмигрантам. Те теперь требуют с него доказательств, а он с меня.

Я постаралась выяснить время получения письма, оно совпадало с нашим последним разговором с Драгомановым. Но ничего дальше выяснить не удалось. Сообщал ли Шувалов Драгоманову, откуда получает он свои сведения? Верил ли он сам в их правдивость? Ничего этого мой собеседник не знал, но сказал, что, по его мнению, на подлость Шувалов не способен. Но роль Судейкина здесь ясна. Он ловко ввертывал дружинникам всякого рода вымышленные известия и «документы», которые могли повредить революционерам. Судейкин знал или предполагал,— в чем и не ошибся,— что его собеседник находится в сношениях с Драгомановым и может сообщить последнему узнанные им от Судейкина

*) Может быть, я потому только вспомнила имя Шувалова, что оно много раз упоминается в книгах Богучарского и Кистяковского. И заинтересовало меня в рассказе гостя не столько оно, сколько роль Судейкина. Во всяком случае это было имя, производящее впечатление, аналогичное с именем Шувалова, такое же знатное, придворное, историческое, общественное [187].

«новости» из революционного мира, а Драгоманов их напечатает или передаст эмигрантам. Так оно, видимо, в случае, который мне припоминается, и вышло...[183]

Вопрос о происхождении «Вольного Слова» не ясен попрежнему, и самая разработанная из предложенных гипотез — г. Богучарского — все-таки оставляет впечатление, будто что-то существенное в этой истории еще неизвестно. Но если бы эта гипотеза превратилась в историческую истину, вопрос о том, каким путем проникали в «Вольное Слово» сведения о действовавших в России революционных организациях, остался бы все-таки таким же таинственным. По числу отведенных им строк эти сведения занимали в газете самое скромное место. Теперешним читателям «Вольного Слова» они совершенно не заметны. Но на отношение эмиграции к «Вольному Слову» или, вернее, к Драгоманову их влияние было решающим. Если неведомые лица, доставлявшие в «Вольное Слово» сведения, хотели «возбуждать ссоры» между революционными группами или их дискредитировать, то этого они не достигли, но если в их цели входило вырыть пропасть между Драгомановым и революционерами и уничтожить то влияние, которое Драгоманов приобрел на значительную часть эмиграции, то этой цели — на время, по крайней мере — они достигли самым блистательным образом.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1) В. И. Засулич перевела на русский язык роман Уэльса «В дни кометы». См. собрание сочинений Уэльса. Изд. «Шиповник», т. V, СПБ. 1910.

2) Хутор Греково находился в Тульской губ. и принадлежал Федору Гермогеновичу Смидовичу, который предоставил В. И. Засулич избу с небольшим цветником. На этом хуторе В. И. проводила летние месяцы.

3) Бяколово находилось в Гжатском уезде, Смоленской губернии, и принадлежало Микулиным, двоюродным сестрам матери Веры Ивановны. Семья Микулиных состояла из трех сестер Елены, Наталии и Людмилы и брата Николая. Бяколово находилось в 10-ти верстах от принадлежавшей матери Веры Ивановны деревни Михайловки, где родилась В. И.

4) Мимина-старушка, гувернантка Матрена Тимофеевна, проживававшая в семье Микулиных. Миминой ее прозвали ее воспитанницы.

5) На этом рукопись обрывается. В той же тетради через несколько чистых страниц начинается следующий отрывок.

6) Имеется в виду «Мимина».

7) В. И. Засулич родилась 29 июля 1849 года в деревне Михайловке, Гжатского уезда, Смоленской губ., доставшейся матери Веры Ивановны, Феоктисе Михайловне, совместно с ее сестрою Глафирой Михайловной, от их отца М. С. Александрова. После смерти Глафиры Михайловны Михайловка перешла в единоличное владение Ф. М. Засулич. Михайловка состояла из 8 дворов крепостных крестьян (около 40 «душ») и 200 десятин земли. Для того, чтобы построить в Михайловке дом и обзавестись хозяйством, Ф. М. Засулич пришлось заложить ее в опекунском совете. Отец Веры Ивановны, отставной капитан Иван Петрович Засулич, человек энергичный, но горький пьяница, не сумел упрочить материального благосостояния своей семьи. Когда В. И. было три года, он умер, оставив на руках жены пять малолетних детей.

8) Сестра Веры Ивановны, А. И. Успенская в своих «Воспоминаниях шестидесятницы» пишет: «Почему Вера в своих записках об'ясняет пребывание Мимины в семье Микулиных тем, что этого требовал «декорум» после того, как воспитание младшей из сестер Людмилы заканчивалось, и Мимина не могла оставаться без дела, — я этого не могу понять. Почему тут какой то декорум? Мимина продолжала жить у Микулиных потому, что нигде в другом месте она и не могла жить, и я не могу себе представить, чтобы тетки Микулины решились отпустить из своего дома ее, безродную, бездомную, полуслепую 60-ти

летнюю старуху на все четыре стороны. Она требовала присутствия в доме ребенка, которым она могла бы заниматься. Может быть, у нее и было такое желание, но наша мать не отдала бы Веру без крайней необходимости, ради только удовольствия Мимины. Такой крайней необходимостью... было неимение средств на то, чтобы дать нам образование». В другом месте А. И. Успенская пишет: «Мать наша была женщина добрая, слабая, бесхарактерная, справляться с хозяйством ей было трудно, доход с имения получался небольшой, еле хватавший на прожиток, и ей, вероятно, сильно приходилось задумываться над тем, как вырастить всех нас, дать нам образование». («Былое», 1922 г. № 18, стр. 20).

9) Из оды Державина «Бог».

10) На этом рукопись обрывается. Через несколько страниц — запись о посещении Колизея в Риме, а еще через несколько — продолжение воспоминаний о детстве. Так как отрывок о Колизее не стоит в связи с дальнейшим текстом воспоминаний, даем его в настоящем примечании:

«Никого не было около Колизея с той стороны, с которой я подошла, — точно пустырь, какая то вытоптанная дорожка. В стене пролом, большие камни лежали по обе стороны. Я, со своей страстью лазать, влезла на камни, потом спустилась и оказалась внутри Колизея. Громадные, прямые стены, высоко вверх. К ним прямые ступени ведут на выступы. Я поднялась по ним и стала смотреть. «Вот эти самые очертания края стен, вырезывающиеся на небе, видели, как умирали христиане, гладиаторы. Здесь где нибудь на одном из выступов Цезарь (властитель Рима)... Что они видели? Что думали?» Не знаю, сколько я простояла.

«К пролому подошли рабочие, взялись за камни. Изнутри подошли к большим воротам, за ними стояла толпа что-то продающих и кричащих; может, они уже и тогда были, когда я пришла? Я проявила свою страсть лазать по тропинкам. Пережить такое сильное волнение, так переноситься за тысячи лет, можно только одной.

«Пошла дальше: Капитолий, храмы, колонна Трояна. Настроение продолжалось, но уже не с той силой. Мысль отбегала. Надо было говорить себе то, что в Колизее само захватило и заставило забыться...»

11) Фраза осталась незаконченной в рукописи.

12) В. И. Засулич, вследствие материальной необеспеченности ее семьи, угрожала перспектива стать гувернанткой. На эту тему в Бяколове велись разговоры между старшими. К должности гувернантки Вера Ивановна, по словам ее сестры А. И. Успенской, чувствовала «непреодолимое отвращение».

13) Когда В. И. подросла, ее отвезли в Москву и отдали для обучения в пансион, который содержали две немки по фамилии Риль. Это было закрытое учебное заведение с суровой, чисто немецкой дисциплиной. Ученицам запрещалось громко разговаривать и смеяться, бегать и прыгать. По отношению к провинившимся применялось дранье за волосы и за уши и другие наказания. Главное внимание было обращено на изучение французского и немецкого языков и музыки; другие предметы проходились очень поверхностно. В 1867 г. В. И. окончила пансион и, сдав экзамен при университете, поступила на должность письмоводителя у мирового судьи в Серпухове.

14) То есть—от необходимости сделаться гувернанткой.

15) Еще в бытность свою в пансионе Вера Ивановна вошла в соприкосновение с людьми, близкими к революционному движению. С ни-

ми она встречалась у своей старшей сестры, Екатерины Ивановны, которая жила на одной квартире с сестрами Анной и Людмилой Николаевными Колачевскими, приходившимися родственницами семье Засулич. Анна Колачевская принимала участие в швейной мастерской сестер Ивановых, организованной Ишутиным на артельных началах, и в 1866 г. подверглась аресту в связи с каракозовским делом. Кроме Колачевских, Вера Ивановна могла встречаться у своей сестры с упомянутыми только что сестрами Александрой и Екатериной Львовнами Ивановыми, также привлекавшимися в 1866 г. по каракозовскому делу, сестрами каракозовцев Моткова и Оболенского, а также с братом Колачевских Андреем, также привлекавшимся по каракозовскому делу за участие в организованном кружком ишутинцев обществе взаимного вспомоществования.

16) Имеется в виду польское восстание в 1863 г.

17) «Валленштейн» — трагедия Шиллера.

18) Вера Ивановна имеет в виду отмену крепостного права в 1861 г., когда дворовые получили возможность оставить своих бывших помещиков и искать себе работу на стороне.

19) На этом обрывается та часть воспоминаний Веры Ивановны, в которой она описывает свое детство и юность. Далее следуют отрывки из воспоминаний о знакомстве с Нечаевым и об его деле, которые мы помещаем вслед за особой статьей, посвященной В. И. нечаевскому делу.

20) Статья «Нечаевское дело» впервые была опубликована Л. Г. Дейчем во II томе сборн. «Группа Освобождение Труда», М. 1924 г. В предислови исвоем Л. Г. Дейч пишет: «Записки эти были начаты ею, вероятно, еще зимой 1883 г., когда мы, члены незадолго перед тем возникшей группы «Освобождение Труда», решили прочитать в Женеве ряд рефератов о нашем революционном движении. В виду робости Веры Ивановны, друзья ее — Плеханов, Степняк и я — долго уговаривали ее рассказать на собрании о нечаевском деле, по которому, как известно, она привлекалась. Согласившись, наконец, она набросала конспект, но, когда наступила ее очередь выступить с докладом, она до того растерялась, что не в состоянии была произнести ни слова, и собравшиеся разошлись, ничего от нее не услыхав. Затем, спустя много лет, Вера Ивановна, повидимому, задалась целью переделать оставшиеся у нее наброски этого непроизнесенного реферата в статью, вероятно, для какого-нибудь возникшего в России во второй половине 90-х г.г. легального марксистского журнала: на это указывает ее стремление придать этим запискам характер об'ективного изложения, без всякого упоминания о ее личном участии в нечаевском деле. Повидимому, для того, чтобы цензура не могла догадаться, кто автор, Вера Ивановна не называет даже своих сестер, также привлекавшихся по этому делу. Что записки эти она предназначала для печати, видно также из тщательно переписанной ею первой части и из сделанного ею на одном листе подсчета количества заключающихся на нем букв с припиской: «из моих двух стр. выходит одна печатная».

Л. Г. Дейч сообщает далее, что рукопись статьи сохранилась в двух вариантах: «Имеются полный текст и с большими изменениями переписанный на бело второй экземпляр второй части, но с некоторыми существенными пропусками из первого. Я помещаю второй вариант, дополнив его всем тем, что Верой Ивановной было опущено из черновой тетради». Часть правой стороны первых четырех страниц, не имеющих дубликата, оказалась оторванной. Восстановленные по до-

гадке слова заключены в квадратные скобки. Слова, зачеркнутые в рукописи, вынесены в подстрочные примечания.

21) В. И. Засулич была осведомлена относительно каракозовского дела его непосредственными участниками. Как сказано выше, еще в Москве она познакомилась с рядом лиц, привлекавшихся по этому делу. По переезде В. И. в августе 1868 г. в Петербург, она, повидимому, через Людмилу Колачевскую и Моткову, также переселившихся из Москвы в Петербург, познакомилась с судившимся по каракозовскому делу Варлаамом Черкезовым. — Подробное и основанное на документах изучение каракозовского дела стало возможным только в самое последнее время, после того, как Центрархив опубликовал два тома стенографического отчета о процессе каракозовцев в Верховном уголовном суде (том 1, 1928 г., т. II—1930 г.) и ряд следственных материалов по каракозовскому делу в XVII т. «Красного Архива» (1926 г.).

22) Ишутинский кружок возник в Москве и к концу 1865 г. сложился в тайное общество, принявшее название «Организация». Осенью 1864 г. им была открыта школа, просуществовавшая до лета 1865 г. Учителями в ней были члены кружка. Школа была рассчитана на 20—25 учеников из беднейшего населения. Помимо преподавания в школе, члены кружка ставили задачей революционизирование учеников. Кружок ишутинцев организовал две мастерские, основанные на артельных началах: переплетную и швейную; в них работали члены кружка и их знакомые. — Ишутин и его ближайшие товарищи по кружку одно время жили совместно на одной квартире в доме Ипатова, вследствие чего их называли «ипатовцами». О любви Ишутина к таинственности и мистификациям говорят очень многие из членов его кружка. Они передают, что Ишутин старался выдавать себя за агента какой то таинственной революционной силы, выдумывал несуществующие тайные общества, говорил о запасах оружия, яко бы предназначенного на революционные цели и т. п. Товарищи Ишутина по организации об'ясняли его склонность к мистификациям присущей ему жаждой деятельности и желанием вовлекать других в революционное движение: своими таинственными рассказами он старался убедить их в существовании могущественной революционной организации и побудить их примкнуть к ней.

23) В рядах «Организации» происходила борьба двух направлений. Левое крыло возглавлялось самим Ишутиным. Он и его сторонники ставали задачей «Организации» подготовку восстания в целях экономического переворота. Более умеренное крыло, во главе которого стояли Мотков, высказывалось за подготовку переворота при помощи постепенной пропаганды в народе, распространения соответствующей литературы, устройства школ, ассоциаций и т. п. Борьба между этими двумя направлениями отличалась весьма ожесточенным характером.

24) В начале 1866 г. у Ишутина и его товарищей зародилась мысль о создании в рядах «Организации» замкнутого кружка под названием «Ад», в который допускались бы самые надежные люди и который принял бы на себя негласный верховный надзор за деятельностью «Организации». Одновременно с этим начал дебатироваться вопрос о необходимости цареубийства.

25) Почти все привлеченные по каракозовскому делу держались на следствии малодушно, спешили выразить раскаяние в своих действиях и давали откровенные показания. Наиболее твердо держался Худяков, но и он не выдержал и дал показания, которые уличали его

ближайшего друга и сотрудника Никольского. Эти показания настолько мучили Худякова, что он пытался покончить с собой и подал в следственную комиссию заявление, в котором отказался от своих показаний, как от ложных. Что касается Ишутина, то он на следствии всячески старался выгородить себя и оправдаться.

26) Указание В. И. Засулич на то, что никто из каразовцев «не выплыл в позднейшем движении», не совсем правильно. Упоминавшийся выше В. Черкезов играл довольно большую роль в нечаевском деле. Приговоренный к ссылке на житье в Сибирь, он в 1876 г. бежал за границу, где был видным деятелем анархического движения. П. Ф. Николаев, по отбытии каторжных работ, наложенных на него по каракозовскому делу, и по возвращении в 1885 г. в Европейскую Россию, принимал участие в организации «Самоуправление» и в 1894 г. был одним из организаторов партии «Народное Право». Позднее он был видным деятелем партии социалистов-революционеров. М. Н. Загибалов, оставшийся жить по отбытии каторги в Сибири, принимал, как социалист-революционер, деятельное участие в революции 1905 г. и был приговорен к ссылке в Нарымский край, которую он однако избежал, перейдя на нелегальное положение. Привлекавшаяся по каракозовскому делу М. К. Крылова в 70-х годах была членом «Земли и Воли» и «Черного Передела» и работала в тайных типографиях этих организаций.

27) Мемуарная литература, оставленная каракозовцами, более чем скудна. Наибольшее значение имеет «Автобиография» Худякова. Кратко останавливаются на каракозовском деле Л. Е. Оболенский в своих «Литературных воспоминаниях и характеристиках» («Исторический Вестник», 1902 г. №№ 1—4), Ф. А. Борисов в автобиографии, опубликованной в № 4 «Каторги и Ссылки» за 1929 г., и П. Ф. Николаев в записке об отношении каракозовцев к Чернышевскому, составленной им по просьбе В. Е. Чешихина-Ветринского (опубликована в книге последнего «Н. Г. Чернышевский», П., 1923 г., стр. 176—179). После того же Николаева и В. Н. Шаганова остались воспоминания о Чернышевском, с которым они встретились на каторге (П. Николаев. «Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского на каторге», М. 1906 г.; В. Н. Шаганов. «Н. Г. Чернышевский на каторге и в ссылке», СПБ, 1907 г.) Кроме того сохранились не законченные и пока еще неопубликованные воспоминания В. А. Черкезова и неопубликованная краткая автобиография П. Николаева.

28) «Опыт автобиографии» И. А. Худякова был напечатан в 1882 г. в Женеве, в Вольной Русской типографии. В 1930 г. перепечатан под заглавием «Записки каракозовца» издательством «Молодая Гвардия».

29) «Муравьевская комиссия» — высочайше учрежденная в 1862 г. следственная комиссия, которая вела расследование дела о покушении Каракозова. Председателем ее в 1866 г. был назначен крайний реакционер-крепостник М. Н. Муравьев, прославившийся кровавой расправой с польскими повстанцами 1863 г. в Литве. В связи с каракозовским делом, по распоряжению Муравьева, было арестовано много людей, не имевших в действительности никакого отношения к этому делу.

30) Материальная необеспеченность мелкобуржуазной интеллигенции делала в ее среде весьма популярной мысль об организации коммун и артелей, основанных на полном равенстве их членов и на принадлежности им орудий труда. Коммуны и артели стали возникать с начала 60-х годов. Движение в пользу устройства их особенно уси-

лилось после появления в 1863 г. романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», где молодежь нашла яркое описание артельной мастерской, организованной героиней этого романа.

31) А. И. Успенская, по сообщению Л. Г. Дейча, находила это сообщение Веры Ивановны не совсем точным. Сама Александра Ивановна поступила в швейную мастерскую, устроенную вышеупомянутыми сестрами каракозовца Иванова, весной 1868 года и оставила ее в августе того же года; мастерская продолжала и дальше существовать, вплоть до выхода этих сестер замуж. Они работали на равных условиях со всеми остальными, вполне усердно; никаких конфликтов, а тем более третейских разбирательств с мастерицами не происходило. (Сборн. «Группа Освобождение Труда», т. II М. 1924 г., стр. 71).

По поводу этого возражения А. И. Успенской необходимо заметить, что из текста статьи В. И. Засулич не видно, чтобы ее рассказ относился к той именно швейной мастерской, которую основали Ивановы. Возможно, что Засулич имела в виду какую-нибудь другую из существовавших в то время швейных мастерских.

32) Это сообщение В. И. Засулич не вполне точно. Некоторые из привлекавшихся по каракозовскому делу, по отбытии тюремного заключения, организовали в Петербурге кружок-коммуну, известный под названием «Сморгонская академия». К этому кружку принадлежали каракозовцы Сергиевский, Воскресенский, Полумордвинов и Черкезов. Кружок этот являлся центром, вокруг которого группировалась революционная молодежь Петербурга 1867—1868 г.г. Из его рядов вышли некоторые из будущих участников студенческого движения 1868—1869 г.г. и нечаевской организации.

33) Большое впечатление на студенческую массу произвел проникший в Россию осенью 1868 г. № 1 журнала «Народное Дело», изданный в Женеве при ближайшем участии М. А. Бакунина. Обращаясь к русской молодежи с призывом отдать свои силы на освобождение народа, Бакунин указывал на бесплодность мирных средств и на невозможность улучшения участи трудящихся путем культурно-просветительной работы. «Путь освобождения народа посредством науки, — писал он, — для нас загражден; нам остается поэтому только один путь, — путь революции». Полученное в сентябре «Народное Дело» усердно переписывалось от руки студенческими кружками и распространялось, как в Петербурге, так и по провинции. «Мы нашли, наконец, в печати, — вспоминает В. Черкезов,—ясно формулированными наши мысли, наши заветные стремления». Эти мысли и стремления вылились в форме краткого лозунга: «в народ!», сделавшегося предметом горячего обсуждения на студенческих сходках и в кружках. С. Л. Чудновский, бывший в то время студентом Медико-хирургической академии, вспоминает: «Вопрос ставился в резко категорической и крайне односторонней форме: «наука или труд», т. е. следует ли отдавать себя (хотя и временно) науке, заниматься ею, добиваться дипломов, чтобы потом вести жизнь привилегированных интеллигентных профессионалистов или же, помня свой долг перед народом... мы, учащиеся, должны поступиться своим привеллигированным положением, добытым целыми веками несправедливости и эксплоатации, бросить науку, расстаться с высшими учебными заведениями, заняться изучением ремесла, а затем в качестве простых ремесленников и даже горнорабочих и батраков отправиться в самую гущу народную». В громадном большинстве случаев обсуждавшийся на сходках вопрос решался в пользу труда, а не науки (С. Л. Чудновский. Из дальних

лет. «Былое», 1907, IX, стр. 284—285). Во время этих сходок уже наметилось расслоение студенчества на две группы (о чем В. И. Засулич говорит ниже): «умеренную», интересовавшуюся исключительно вопросами студенческой жизни, и «радикальную», стремившуюся придать движению политический характер. Среди этой последней части студенчества, к которой примкнул и Нечаев, тогда же зародилась мысль об организации политического общества в целях подготовки в России революции. См. З. Ралли. Сергей Геннадиевич Нечаев. «Былое», 1906 г., VII, стр. 137.

34) «Медиками» — в Петербурге того времени называли студентов Медико-хирургической академии.

35) Факт посещения студенческих сходок женщинами отмечает в своих воспоминаниях и С. Л. Чудновский, перечисляя некоторых из них: Дементьеву (впоследствии жена П. Н. Ткачева), полковницу Томилову, привлекавшуюся по нечаевскому делу, сестру нечаевца Святскую, сестру Нечаева Анну Геннадиевну и др. (См. упомянутые выше воспоминания С. Л. Чудновского. «Былое», 1907, IX, стр. 285). Посещала эти сходки и сама В. И. Засулич.

36) С. Г. Нечаев, бывший в то время учителем Сергиевского приходского училища, одновременно состоял вольнослушателем университета. С. Л. Чудновский (цитированные выше воспоминания, стр. 284) отмечает, что Нечаев лично появлялся лишь на менее многочисленных и более интимных собраниях, устраивавшихся «радикальной» частью студенчества.

37) Подписной лист, о котором говорит В. И. Засулич, был озаглавлен: «Подпись лиц, учащихся в высших учебных заведениях, протестующих против всех тех условий, в которые они поставлены, и требующих для изменения этих условий право сходок для всех учащихся высших учебных заведений вместе. Форма протеста примется по соглашению подписавшихся». Всего на этом подписном листе было собрано 97 подписей. Какими то путями, выяснить которые на основании известных нам материалов не представляется возможным, подписной лист попал в распоряжение III отделения, что дало повод некоторым из давших свои подписи студентов подозревать Нечаева в предательстве.

38) В последнее время в нашей исторической литературе можно встретить категорическое утверждение, что Нечаев перед отъздом его из Петербурга действительно подвергся аресту и что ему удалось бежать. Внимательное изучение материалов, находящихся в архиве III отделения приводит к заключению, что утверждение это не соответствует действительности. В. И. Засулич права, когда она говорит, что Нечаев только был вызван для допроса к заведывающему секретным отделением канцелярии петербургского обер-полицмейстера Колышкину и после допроса отпущен. В это время петербургской полиции роль и значение Нечаева были совершенно неясны; для нее Нечаев был рядовым участником студенческого движения. Вызов его к Колышкину объяснялся имевшимися у полиции сведениями, что он и студент Любимов, также вызывавшийся одновременно с Нечаевым к Колышкину, являлись организаторами студенческой сходки 28 января 1869 г., о которой полиции стало известно. Даже после исчезновения Нечаева из Петербурга III отделние не отдавало первоначально себе отчета в том, каким опасным для него врагом является Нечаев. На справке об его исчезновении, датированной 12 февраля и хранящейся

в делах III отделения, имеется резолюция: «Личность его едва ли заслуживает внимания». («Красный Архив», т. XIV, 1926 г., стр. 148).

38а) Евлампий Аметистов действительно был деятельным помощником Нечаева. Он сам писал о себе в записке к одному своему знакомому: «Близок я к Ср. Ген. и в настоящую минуту изображаю из себя «ejus alter ego» («Красный Архив», т. XIV, стр. 150).

38б) Знакомой Нечаева, о которой говорит В. И. Засулич, была она сама.

39) По агентурным сведениям III отделения, Нечаев за несколько времени до исчезновения из Петербурга продал свою мебель и в кругу некоторых знакомых рассказывал, что он намерен отправиться за границу, чтобы заняться в Англии изучением какого то искусства. («Красный Архив», 1926 г., т. XIV, стр. 148).

40) Это сообщение В. И. Засулич не вполне точно. Из воспоминаний нечаевца Л. П. Никифорова (Мои тюрьмы. «Голос Минувшего», 1914 г. № 5, стр. 171—172) известно о подготовке студентами протеста против ареста Нечаева, осуществлению которого помешали волнения, вспыхнувшие в петербургских учебных заведениях в марте 1869 г. и закончившиеся арестом большинства сторонников Нечаева.

41) Уехав из Петербурга, Нечаев отправился в Москву. Здесь он, между прочим, под фамилией Павлова, познакомился со своим будущим сподвижником по «Народной Расправе» П. Г. Успенским. Из Москвы он направился в Одессу, чтобы перебраться за границу, но в начале марта вновь приехал в Москву и рассказал своим знакомым, что он, будто бы, подвергся в Одессе аресту, но снова бежал. Раздобыв в Москве паспорт Н. Н. Николаева, Нечаев 4 марта уехал за границу.

42) В сборнике «Группа Освобождение Труда» напечатано не «Ижицкий», а «Ежицкий», но это — или опечатка, или ошибка В. И. Засулич.

43) «Письма без адреса», содержавшие в себе резкую и глубокую критику реформы 19 февраля 1861 г. и политики правительства, были написаны Н. Г. Чернышевским в начале 1862 г. и предназначались для напечатания в журнале «Современник», но не были пропущены цензурой. Впервые они были напечатаны в Женеве в 1874 г. М. К. Элпидиным.

44) Слова, поставленные в кавычки, заимствованы из печатной прокламации Нечаева, озаглавленной «Студентам университета, академии и технологического института в Петербурге» (перепечатана в № 163 «Правительственного Вестника» за 1871 г.). Об аресте в Одессе и бегстве оттуда Нечаев в этой прокламации не упоминал.

45) Приведенная В. И. Засулич цитата заимствована из письма Нечаева к Томиловой из Женевы от 7 (19) апреля 1869 г. В виду того, что В. И. Засулич цитирует это письмо недостаточно полно и невполне точно, приводим его по тексту, опубликованному в № 162 «Правительственного Вестника» за 1871 год:

«Уезжая, я не разорвал связи с делом по примеру других, и тотчас же после того, как успею устроить здесь связи, я вернусь, что бы меня ни ожидало. Вы тем более должны были знать, что я, пока жив, не отступлюсь от того, за что взялся, и если это знали, то должны были извещать о малейшем изменении, о всех подробностях, если вам тоже дорого дело!... Что же вы там теперь руки то опустили? Дело горячее: его, как железо, надо бить, пока горячо!.. Присылайте скорее (сейчас по получении письма) человека надежного, т. е. не

только честного, но и умного, и ловкого вдобавок. Если кто уже поехал, тем лучше. Но если поехал тряпичный человек, то немедля пошлите другого. И до тех пор, пока посланный не воротится, не начинайте большого процесса. Всего лучше, если бы приехал Бирк (если он в провинции, то верните его и тотчас же сберите, если он болен, то пришлите Евлампия [Аметистова]. Дело, о котором придется толковать, касается не одной нашей торговли, но и обще-европейской!.. Здесь дело кипит! Варится такой суп, что всей Европе не расхлебать! Торопитесь же други! Торопитесь, не откладывайте до завтра, что можно сделать сию минуту».

46) Прокламация эта содержала в себе устав бакунинского Альянса.

47) В. И. Засулич ошибается, относя начало «беспорядков» на апрель 1869 г. В действительности они происходили в марте этого года. Поводом для них явилось столкновение, происшедшее между студентом Медико-хирургической академии Надуткиным и секретарем конференции проф. Рудневым, в результате которого Надуткин был уволен из академии. С 6 марта в академии начались студенческие сходки, закончившиеся закрытием академии 14 марта. После этого волнения перекинулись в другие высшие учебные заведения Петербурга: университет, технологический и земледельческий институты. Вследствие арестов, произведенных в студенческой среде, в 20-х числах марта волнения прекратились.

48) Прокламация «К обществу», вышедшая 20 марта 1869 г. и излагавшая требования волновавшихся студентов, была написана П. Н. Ткачевым и отпечатана в типографии, принадлежавшей его жене А. Д. Дементьевой. Насколько известно, прокламация эта была перепечатана только одной газетой — крепостнической «Вестью», воспользовавшейся этим случаем, чтобы выразить свое негодование относительно нежелания студентов учиться и их стремления добиться «самоуправления несовершеннолетних» («Весть» от 22 марта 1869 г.). В № 64 «Ведомостей С.-Петербургской городской полиции» появилось сообщение обер-полицмейстера Трепова, в котором он, полемизируя с прокламацией Ткачева, указывал, что никакой особой опеки по отношению к студентам полиция не несет, и заявлял, что он не потерпит никаких сходок и примет против студенческих волнений решительные меры.

49) По сведениям III отделения за участие в мартовских студенческих волнениях 1869 г. из Петербурга было выслано 40 студентов университета, 22 медика и 7 технологов.

50) В. И. Засулич имеет в виду то самое письмо Нечаева к Томиловой от 7 (19) апреля 1869 г., которое она цитировала выше. Письмо это было перлюстрировано на почте. Чтобы Томилова не могла, получив его, скрыть и тем самым лишить III отделение важной улики, было дано распоряжение, чтобы это письмо было доставлено Томиловой в строго определенное время. К этому времени жандармы явились на квартиру Томиловой и стали производить у ней обыск. Когда почтальон принес Томиловой письмо Нечаева, жандармы, производившие обыск, отобрали это письмо, в качестве вещественного доказательства. Этот обыск происходил 13 апреля. Томилова была арестована. Одновременно были арестованы жившие на квартире Томиловой сестра Нечаева, Анна, и два брата Томиловой Диттенпрейс, а также ее муж. Однако, все они в ближайшее время были освобождены по полной непричастности их к делу. При обыске у Томиловой была найдена записка, написанная другом Нечаева В. Ф. Орловым, в которой гово-

рилось: «Все друзья по делу! Вы, которым знакомы имена Нечаева, Ралли, Аметистова и пр., доверьтесь во всем Томиловой и на кого укажет она. Ей передан весь план нашего дела и через нее вы найдете и средства, и лучших друзей для продолжения нашего дела. Орлов». Эта записка послужила поводом к аресту двух братьев Аметистовых, Евлампия и Ивана.

51) Антонова, приехавшая из Москвы, была арестована на квартире Томиловой, куда она зашла во время обыска. Через 4 дня она была освобождена и уехала в Москву, но по приезде туда вновь арестована, вследствие полученных московскими жандармами сведений о причастности ее к студенческим волнениям, происходившим в Московском университете. Проживавшая на одной квартире с ней Н. Успенская была арестована еще до возвращения Антоновой из Петербурга. Материал, добытый во время обыска у Антоновой, дал жандармам основание арестовать и Ф. В. Волховского.

52) В. И. Засулич ошибается. Ни один из братьев Аметистовых в заключении не умер. Повидимому, Засулич спутала братьев Аметистовых с другими нечаевцами братьями Лихутиными, один из которых, Владимир, действительно умер в заключении в марте 1871 г., не дождавшись судебного рассмотрения дела нечаевцев, по которому он привлекался.

53) Нечаев приехал в Москву и явился к П. Г. Успенскому в первых числах сентября 1869 г. Успенский предложил Нечаеву поселиться в своей квартире на 1-й Мещанской улице, предоставив в его распоряжение одну из двух комнат в мезонине. Нечаев, по свидетельству А. И. Успенской, пользовался этой комнатой до вторичного отъезда своего за границу.

54) В тексте статьи Засулич, напечатанном во 2-м томе сборн «Группа Освобождение Труда», вместо «Волховского» напечатано «Волховской». Это — явная опечатка.

55) В. И. Засулич имеет в виду арест в апреле 1869 г. Ф. В. Волховского и многих членов его кружка. Почему в то время не был арестован и Успенский, причастность которого к кружку Волховского не не была тайной для московских жандармов, неизвестно.

56) Относительно тех планов, которые строились кружком Долгова, А. К. Кузнецов сообщает: «Часто шли беседы, как помочь выйти народу из ужасного положения, и никогда мы не додумывались дальше фаланстеров Фурье и полумер Сен-Симона. Наш дружеский кружок даже наметил около академии участок земли, на котором мы мечтали работать на коммунистических началах, думая, что он будет служить примером для других студентов академии». (Автобиография А. К. Кузнецова. Энциклопедический словарь, изд. Гранат, т. 40, вып. 5—6, стр. 229).

57) Рассказ об убийстве Нечаева по дороге в ссылку в Сибирь был напечатан в № 1 «Народной Расправы», который Нечаев привез с собою в Россию.

58) Засулич имеет в виду отпечатанное в виде прокламации стихотворение Н. П. Огарева «Студент» с подзаголовком: «Молодому другу Нечаеву». В этом стихотворении, между прочим, говорилось:

«Жизнь он кончил в этом мире —
В снежных каторгах Сибири,
Но до тла нелицемерен,
Он борьбе остался верен,—

До последнего дыханья
Говорил среди изгнанья:
Отстоять всему народу
Свою землю и свободу».

59) По поводу рассказов Нечаева об Интернационале А. К. Кузнецов показывал на суде следующее. «Он начал рассказывать о том, что за границей существует международное общество, которое имеет целью сблизить все интересы рабочих разных стран, не допускать до произведения отдельных вспышек, а чтобы совокупными усилиями добиваться тех или других результатов, и что это общество имеет конечною своею целью в отдаленном будущем уничтожить существующее разделение обществ во всех государствах, в настоящее время разделенных на две группы: на меньшинство развитое, которое эксплуатирует большинство, держа его в невежестве и оставляя ему для заработка лишь столько, чтобы не умереть с голоду. После этого он говорил, что в этом обществе есть много народа, есть много русских, которые уже с давних пор изучают положение России и пришли к убеждению, что у нас, хотя не существует обширного класса пролетариев, но в сущности, если сравнивать положение рабочего на Западе и положение наших крестьян не по собственности,а по тому, сколько они зарабатывают и сколько с них берут, то положение наших рабочих нисколько не лучше положения пролетариев. Из этого он выводил то заключение, что в настоящее время народ наш мало по малу разоряется и находится в таком бедственном положении, при котором близко время, когда он может восстать». («Правительств. Вестник», 1871 г., № 156).

60) По положениям 19 февраля 1861 г. был установлен девятилетний срок, в течение которого крестьяне были обязаны удерживать в своем пользовании, без права отказа, отведенную им мирскую землю за установленные повинности в пользу помещика. По истечении этого срока, т. е. с 19 февраля 1870 г., крестьяне получали право выбора: или отказаться от такого обязательного пользования и возвратить землю помещику, или сохранить в своем пользовании землю, продолжая нести установленные повинности. Говоря о приближении срока этого выбора публицист либерального «Вестника Европы» писал: «Минута важная, снова заставляющая миллионы людей задуматься и переменить весь строй своего семейного, домашнего быта, на этот раз помимо всякой опеки, по указанию собственного сознания». (Н. Колюпанов. Девятнадцатое февраля 1870 года. «Вестник Европы», 1869 г. № 10, стр. 735). О том, какие надежды связывал Нечаев с 19 февраля 1870 г., член «Народной Расправы» В. К. Попов сообщил на суде следующее: Нечаев «говорил ему, что так как 19 февраля будет окончательный раздел крестьян с помещиками, то не худо было бы, если бы побольше образованных людей, оставя свои привилегии, стали в ряды рабочих, чем и оказали бы пользу для развития ассоциационных начал, присущих рабочему классу». («Правительственный Вестник», 1871 г., №,197).

61) Рассказывая о своих переговорах с Нечаевым по приезде его в Москву, Успенский говорил на суде: «У нас начались споры и переговоры, которых я не буду приводить в подробности, так как они слишком длинны, я укажу только на ту разницу воззрений, которая существовала между мною и Нечаевым: я предпочитал путь мирного развития народа посредством распространения грамотности, через

учреждение школ, ассоциаций и других подобных учреждений, а он, напротив, считал революцию единственным исходом из настоящего положения». Отвечая на вопрос, почему же он, несмотря на это, вступил в тайное общество, Успенский ответил, что этому способствовали известные ему случаи преследования правительством невинных людей. «Я могу назвать 100—150 моих знакомых, или сосланных на каторгу и на поселение, или высланных административным порядком»... «Последние административные меры сделали то, что ни я, никто из моих знакомых не могли считать себя безопасными и гарантированными от преследований, хотя и не считали себя заслуживающими такого преследования». На него подействовал также арест ни к чему не причастной его сестры, 15-летней девушки, и заключение ее в Петропавловскую крепость. («Правительственный Вестник», 1871 г. № 158).

62) Успенская А. И. в замечаниях своих на статью В. И. Засулич писала: «Петр Гаврилович Успенский не потому присоединился к Нечаеву, что видел в нем одного из уцелевших членов разбитой (изловленной) организации, подобно карбонариям, а потому, что видел в нем безгранично, фанатически преданного народным интересам человека». Это замечание, опубликованное Л. Г. Дейчем в сборнике «Группа Освобождение Труда» (т. II, стр. 71), об'ясняется недоразумением: Нечаев говорил Успенскому не о разбитой, а, наоборот, чрезвычайно могущественной организации.

63) Кузнецов на суде рассказывал, что, когда он при первом разговоре с Нечаевым стал развивать ему мысль о необходимости использования в интересах народа легальных возможностей (школы, артели, ассоциации и т. п.), то Нечаев «смеялся над этим и говорил, что эти вещи незаконные, что как бы ваше желание помогать народу не было искренне, но посредством своих знаний вы недостаточно поможете ему словами; достаточно узнать о ваших действиях, чтобы вас преследовали как политических преступников. По этому поводу я спорил, но в конце концов должен был согласиться, что он говорил справедливо». («Правител. Вестник», 1871 г. № 156).

64) Долгов так рассказывал на суде о своих переговорах с Нечаевым: «Он пожелал узнать мои личные планы. Я сказал ему, что по окончании курса в Академии собираюсь устроить земледельческую ассоциацию. Он начал опровергать этот план, начал доказывать, что вряд ли нам удастся осуществить эту ассоциацию, потому что правительство не позволит и всех соучастников разошлет в ссылку. Затем он начал говорить, что в настоящее время некогда заниматься такими вещами, что народ возбужден и что все честные люди должны присоединиться к народу. На это я ему говорил, что, сколько мне известно, народ не готов восставать против правительства. Нечаев с целью опровергнуть мое мнение говорил, что он путешествовал по России и убедился, что народ крайне озлоблен против правительства, что достаточно немногого, чтобы он выразил свое неудовольствие. В виду этого составилось общество, цель которого заключалась в том, чтобы в случае, если явится протест со стороны народа, то поддержать его и направить так, чтобы оказались хорошие результаты. Указывая на это общество, Нечаев упоминал об интернациональном обществе и говорил, что связью с ним служит Бакунин». («Правител. Вестник», 1871 г. № 172). В разговоре с Рипманом, возражая против его плана относительно устройства артелей, Нечаев указывал не только на преследования, которым они подвергнутся со стороны правительства, но и на то, что артели не приведут к облегчению положения народа, «так как посредством артелей еще

легче эксплоатировать народ, чем теперь». Затем, продолжая опровергать доводы Рипмана, Нечаев рекомендовал другое средство для улучшения участи народа. «При этом, — рассказывал Рипман на суде,—он указал, что за границей существует международная ассоциация рабочих; сказал, что общество этих рабочих стремится к тому, чтобы доставлять победу труду над капиталом, и что достигается это посредством стачек и другими средствами. Потом он говорил, что у нас в России можно достигнуть той же цели, т. е. возвышения русского народа, и что для этого следует поступить в эту международную ассоциацию, отделение которой, по его словам, находилось и в Москве». Рипман стал просить, чтобы Нечаев познакомил его с программой этого тайного общества. Тогда Нечаев прочитал ему некоторые места из французского листка, который был у него («Правительств. Вестник», 1871 г. № 172). Этим листком была упоминавшаяся выше прокламация, содержавшая в себе устав бакунинского Альянса.

65) Кузнецов на суде рассказывал, что первоначально на предложение Нечаева вступить в тайное общество он дал отрицательный ответ, ссылаясь на то, что не может быть ему полезен, так как ведет замкнутую жизнь. Тогда Нечаев просил хоть чем нибудь помогать обществу, указывая, что этим Кузнецов гарантирует свою личную безопасность во время восстания. Кузнецов согласился оказывать обществу денежную поддержку. («Правител. Вестник», 1871 г. № 150).

66) «Общие правила организации» были составлены самим Нечаевым. Текст их приведен В. И. Засулич не дословно, а с значительными изменениями, не отражающимися, впрочем, на смысле «правил». Точный текст «правил» можно найти в книге В. Богучарского «Государственные преступления в России в XIX в.», т. I СПБ, 1906 г., стр. 182.

67) Рипман на суде рассказывал: «Вскоре после того, как мы дали согласие, Нечаев начал запугивать нас, если можно так выразиться, властью и силою комитета, о котором он говорил, что будто он существует и заведует нами. Так один раз Нечаев пришел к нам и сказал, что сделалось комитету известно, что будто кто-то из нас проговорился о существовании тайного общества. Мы не понимали, каким образом это могло случиться. Он сказал: «Вы не надейтесь, что вы можете притворяться и что комитет не узнает истины: у комитета есть полиция, которая очень зорко следит за каждым членом». При этом он прибавил, что если кто из членов как нибудь проговорится или изменит своему слову и будет поступать вопреки распоряжениям тех, кто стоит выше нашего кружка, то комитет будет мстить за это». («Правительств. Вестник», 1871 г. № 172).

68) По сообщению А. К. Кузнецова, в течение двух недель в кружки было завербовано до 400 человек. Автобиография А. К. Кузнецова в 5—6 вып. 40 тома Энциклопедического словаря, изд. Гранат стр. 226).

69) На заявление Кузнецова относительно того, что он не понимает злобы, которой пропитана «Народная Расправа», Нечаев ответил, что она написана в расчете запугать общество и деморализировать его. При этом он об'яснил, что дело не в «Народной Расправе» и сказал, что вообще эта вещь касается теоретических вопросов, и высказал свой взгляд на то, что все общества, существовавшие до сих пор, не имели успеха, потому что занимались разными теоретическими соображениями. Он указал на то, что гораздо полезнее сделать хотя бы что-нибудь, чем заниматься разными обширными планами». (Показание Кузнецова на суде. «Правит. Вестник», 1871 г. № 156). П. Г. Успенский на суде говорил: «Я имел возможность знать мнение всего нашего общества, и

общее мнение всех было то, что прокламации эти были отвратительные, и я должен признаться, что они нанесли больше вреда обществу, чем все остальное». («Правит. Вестник», 1871 г. № 158).

70) «Бакунинская прокламация была озаглавлена «Несколько слов к молодым братьям в России»; она была издана в апреле 1869 г. «Нечаевская» прокламация—упомянутая выше в примечании 44 прокламация «Студентам университета...» «Дворянская» прокламация в двух вариантах, из которых один был издан в 1869 г., а второй—в 1870 г. опубликован мною в XXII т. «Красного Архива» 1927 г. Кроме этих упомянутых В. И. Засулич прокламаций, в 1869 г. Бакунин и Нечаев распространяли ряд других: «Русские студенты» (Огарева), «Начало революции», «Постановка революционного вопроса», «Наша повесть» (Огарева) и др. Кроме того, распространялась рукописная прокламация «От сплотившихся к разрозненным», написанная Нечаевым во время «полунинской» истории, о которой см. ниже.

71) В. И. Засулич несомненно ошибается, об'ясняя участие Прыжова в «Народной Расправе» исключительно его болезненным состоянием. Из «Исповеди» Прыжова («Минувшие годы», 1908 г., № 2) и из его объяснений на суде видно, какие мотивы заставили его примкнуть к тайному обществу. «Всякого человека,—говорил Прыжов на суде,—мало-мальски смышленого, вышедшего из массы народа, постигает двоякая участь: он должен или умереть на большой дороге или в большом городе без куска хлеба, или сделаться агитатором». Прыжов еще до появления Нечаева был связан с революционными кругами Москвы. Из сообщения каракозовца П. Ф. Николаева известно, что Прыжов, как и П. Г. Успенский, желали примкнуть к ишутинской «Организации», но не были приняты в нее. В 1868—1869 г. Прыжов принимал участие в кружке Ф. В. Волховского, о котором упоминалось выше.

72) По словам Николаева, он приехал из Тулы в Москву в 20 числах октября 1869 г. Перед этим к нему приезжал из Москвы Прыжов и звал в Москву, говоря, что там «есть дело». (Правительств. Вестник», 1871 г., № 157).

73) Встретившись после ареста Успенского с возвратившимся в Москву Нечаевым, Николаев услышал от него, что «теперь он положительно не знает, что ему делать». «Тут я в первый раз решился спросить его о том, действительно ли существует комитет и не заключается ли он на самом деле в самом Нечаеве. Но отвечая утвердительно на мой вопрос, он говорил мне, что все средства позволительны для того, чтобы завлечь людей в дело, что правило это существует и заграницей, что следует ему и Бакунин, а равно и другие и что, если такие люди подчиняются такому правилу, то понятно, что и он, Нечаев, может поступать таким образом. Все это страшно поразило меня». (Показания Николаева. «Правительств. Вестник», 1871 г. № 157).

74) О попытках Нечаева завязать связи с рабочими тульского оружейного завода см. материалы, опубликованные мною в XL т. «Красного Архива», за 1930 г.

75) А. К. Кузнецов пишет о Николаеве следующее: «Николаев имел наружность крестьянина: широкое лицо, рыжеватые волосы и крестьянскую клинообразную бороду, ходил в развалку тяжелой поступью, всегда был одет в большие сапоги и в крестьянский нагольный тулуп... Он представительствовал в кружках, как организатор среди крестьянства. Из его сообщений мы знали о недовольстве крестьян реформой 1861 года и о готовности крестьян присоединиться к восстанию». (Цитированная выше автобиография А. К. Кузнецова, стр. 227).

76) «Общие правила сети для отделений» были составлены Нечаевым в октябре 1869 г. Они напечатаны полностью Богучарским в I т. «Государственных преступлений в России в XIX веке», стр. 183. В. И. Засулич цитирует этот документ не вполне точно. В конце «Общих правил» говорится: «Сей экземпляр не должен распространяться, а храниться в отделении».

77) При обыске, произведенном 26 ноября 1869 г. на квартире П. Г. Успенского, была, между прочим, найдена «печатная $^1/_{10}$ листа книжка на неизвестном языке» без заглавия. Это и был знаменитый «катехизис революционера» или «правила революционера», выдержки из которого — не вполне точные—приводит В. И. Засулич. (Наиболее точный текст этого документа опубликован в № 1 — 2 журнала «Борьба классов», 1924 г.). При расследовании дела таинственную книжку удалось расшифровать и она фигурировала на суде и была широко использована прокурором в его обвинительной речи для дискредитирования как самого Нечаева, так и подсудимых. В настоящее время можно считать установленным, что действительным автором «катехизиса» был не Нечаев, а М. А. Бакунин.

78) По словам Рипмана, Прыжов говорил, что, бывая в кабаке, надо молчать, слушать разговоры, которые там ведутся, но самому не вступать в них. «Если навязываться на разговор,—говорил Прыжов,— то от нашего крестьянина не добьешся ответа; если же, напротив, молчать и прислушиваться, то можно узнать гораздо больше». (Показания Рипмана. «Правительств. Вестник», 1871 г. № 172).

79) Об этом своеобразном «хождении в народ» интересные сведения сообщил на суде Рипман. Он рассказывал: «Когда я вошел туда (т. е. в кабак. **Б. К.**), со мною чуть не сделался обморок при виде той грязи—физической и нравственной,—которая господствовала в этом вертепе. Если бы не водка, которой я выпил, я бы упал. Я в первый раз просидел там недолго; потом еще несколько раз приходил, и с каждым разом впечатление, производимое на меня этим местом, делалось тяжелее и тяжелее. Дело дошло до того, что здоровье мое начало портиться, что было замечено Прыжовым и некоторыми товарищами моими. Вследствие этих обстоятельств, я вскоре совсем прекратил посещение этих мест. Руководствуясь наставлениями Прыжова, я прислушивался к разговорам, которые там велись. Из этих разговоров я узнал, что некоторые из посетителей занимаются карманным грабежом. Мне как то не верилось, что бы они могли так открыто посещать трактиры, занимаясь таким ремеслом. В это время пришлось встретиться с одним бессрочно отпускным солдатом, который имел вид истощенный. Я угостил его обедом, и за это он предостерег меня, что тут есть жулики и что нужно быть осторожным. Кроме того, мне удалось раз или два поговорить с публичными женщинами, которые посещали этот кабак. Я иногда заговаривал с ними, желая знать причину, почему они так низко пали, и одна из них, которой я оказал маленькую услугу тем, что накормил ее, сказала мне, что жулики намерены меня ограбить. Вследствие этого обстоятельства и вследствие того тяжелого впечатления, которое производили на меня это место и тамошние посетители, я сказал, что больше не могу ходить туда». («Правительств. Вестник», 1871 г. № 172).

80) Николаев переписывал «общие правила организации» и прокламацию «От сплотившихся к разрозненным», написанную Нечаевым по поводу «Полунинской истории».

81) Так называемая «полунинская история» разыгралась в Московском университете в конце октября 1869 г. Вкратце сущность ее сводилась к следующему: «За от'ездом за границу проф. Захарьина чтение его курса на 4 курсе медицинского факультета было поручено проф. Полунину. Студенты, найдя, что Полунин проявляет недостаточное знакомство с предметом, читать который он взялся, отказались слушать его лекции. 25 октября совет университета постановил сделать студентам выговор и предупредить, что если они не явятся на лекции к 29 октября, то курс будет закрыт. Несмотря на это, 29 октября на лекцию Полунина явилось только 6 студентов. В тот же день совет университета постановил исключить из университета 9 студентов на сроки от 1 до 3 лет без права поступления до истечения этих сроков в другие высшие учебные заведения, и 11 студентов с правом поступления в другие учебные заведения. Пять из первых девяти студентов: Лыткин, Бутурлин, Смирнов, Эльсниц и Гольштейн были высланы из Москвы. По поводу полунинской истории А. К. Кузнецов рассказывал на суде: «В кружок было прислано приказание комитета о том, чтобы действовать на всех знакомых из университета для того, чтобы эта история не кончилась одним движением медиков 4 курса, а чтобы она приняла более широкие размеры». («Правит. Вестник», 1871 г., № 156). В протоколе заседания кружка 4 ноября о полунинской истории говорится: «Передал (неясно кто: Нечаев или Прыжов. **Б. К.**) об исключении 18-человек медиков и о произведенном этим волнении в университете, которым предложил воспользоваться, для чего решено было сообщить по всей организации о том, чтобы поддерживать это волнение, созывать сходки, намечать личностей, более выдающихся, и давать направление более широкое, чем студенческая история. Намекать о существовании в обществе силы, к которой следует примкнуть всякому. Распустить листки «От сплоченных к разрозненным». Движение должно будет получить радикально-демократический характер и закончиться демонстрацией политического характера. Отправлены были в Петербург письма с этой же целью». («Правительственный Вестник», 1871 г., № 162).

82) В тексте, опубликованном в сборнике «Группа Освобождение Труда», ошибочно напечатано: «Скинского».

83) Предположение В. И. Засулич относительно причины ареста Негрескула не соответствует действительности. Он был арестован 4 декабря 1869 г., т .е. еще до от'езда Нечаева за границу. Повидимому, арест Негрескула был вызван упоминанием его фамилии в показаниях, данных арестованным накануне А. К. Кузнецовым.

84) Спор между Нечаевым и Ивановым относительно распространения прокламаций происходил не 19 ноября, а значительно раньше (4 ноября). Это видно из протоколов кружка, оглашенных на суде: «4 ноября. Предложено (Нечаевым) распространять в академии с целью возбудить оживление в слушателях разного рода листки. № 4 (Иванов) после долгих споров решился не только не помогать этому, но даже противодействовать. Он жалел кухмистерскую, которая от этого может быть закрыта». («Правительственный Вестник», 1871 г., № 162).

85) Успенский на суде говорил: «Иванов был человек сварливый, постоянно споривший, и на первых же порах стал самым сильным препятствием к достижению той цели, которой следовал наш кружок... В день от'езда Нечаева (т. е. предполагавшегося, но несостоявшегося, его от'езда в Петербург 20 ноября. **Б. К.**) я узнал, что Иванов отказывается от участия в обществе, что он выходит из общества, чуть ли

не хочет даже сделать большее, т. е. идти и рассказать о всем правительству. Раздосадованный, я сообщил этот факт Нечаеву». «Я не имел никакой вражды к Иванову,—добавил к этому Успенский,—и считал необходимым его устранить именно в виду того громадного вреда, который он мог нанести обществу». («Правительств. Вестник», 1871 г., № 158).

86) Относительно своего участия в убийстве Иванова Кузнецов говорил на суде следующее: «Из всего дела ясно было одно. Оно производится по требованию комитета. Собственно о комитете мы были такого мнения, что он действительно существует. Таким образом, если бы я отказался, если бы сказал прямо, что не пойду, то поставил бы себя в такое положение, в каком был Иванов, и мне ясно представлялось, что они могли и со мной учинить такую же расправу. Согласия я не изъявлял, но когда потом на вопрос Нечаева: «кто же пойдет?», я ответил, что я ни за что не пойду, то Нечаев сказал, что я обязан идти, потому что знаю план». («Правительственный Вестник», 1871 г., № 158).

87) В апреле 1869 г. Людмила Колачевская привезла из Петербурга в Москву и зарыла в окрестностях Филей типографский шрифт (см. А. И. Успенская. Воспоминания шестидесятницы. «Былое», 1922 г., № 18, стр. 29). Об этом шрифте было известно Нечаеву, но места, где он был зарыт, Нечаев, повидимому, не знал.

88) В своих замечаниях на статью В. И. Засулич, А. И. Успенская писала: «Изложение Верой заговора и дела убийства Иванова сделано ею только по одному обвинительному акту, а известно, как составлялись прокурорами и жандармами такие акты: Вера не приняла во внимание ни этого обстоятельства, ни свидетельских показаний, ни речей подсудимых и их защитников. К тому же не надо еще и того забывать, что многие подсудимые (даже такие близкие друзья его, как Томилова, Орлов) все решительно валили на Нечаева, находившегося за границей. Если бы Вера со всем этим считалась, ее изложение было бы, вероятно, иным». Это возражение А. И. Успенской не вполне справедливо: несомненно, что В. И. Засулич не ограничивалась одним обвинительным актом, а очень внимательно проштудировала весь стенографический отчет о деле нечаевцев.

89) Нечаев и Кузнецов выехали из Москвы 22 ноября 1869 г., убийство же Иванова произошло 21 ноября.

90) Первый обыск у Успенского был произведен 26 ноября 1869 г. Список, о котором говорит В. И. Засулич, заключал в себе фамилии лиц, намеченных для привлечения, а позднее отчасти и привлеченных,— в члены общества «Народная Расправа».

91) Тело Иванова было найдено 25 ноября, т. е. накануне обыска у Успенского. Однако, личность убитого удалось определить не сразу. Еще позднее была установлена тождественность убитого Иванова с тем Ивановым, фамилия которого значилась в списке, найденном у Успенского.

92) Кузнецов был арестован 3, а не 2 декабря.

93) Вторично Нечаев уехал за границу во второй половине декабря 1869 г.

94) Нечаев умер 21 ноября 1882 г.

95) В. И. Засулич имеет в виду материалы, опубликованные в 1863 г. в № 1 «Вестника Народной Воли», и перепечатанные в № 7 «Былого» за 1906 г.

96) На этом рукопись В. И. Засулич обрывается.

97) Яковлев, повидимому, — Андреевского училища.

98) В августе 1866 г. Нечаев выдержал в Петербурге испытание на звание городского приходского учителя и был определен на должность учителя младшего класса Андреевского двухклассного училища; в сентябре 1867 г. он был переведен в Сергиевское приходское училище, где продолжал работать до отъезда своего из Петербурга в конце января 1869 г. Занимаясь преподавательской работой, Нечаев в то же время состоял вольнослушателем Петербургского университета.

99) «Исторические письма» П. Л. Лаврова печатались в 1868—1869 г.г. в газете «Неделя» за подписью: П. Миртов.

100) В. И. Засулич в то время работала в артельной брошюровочно-переплетной мастерской.

101) Очевидно В. И. Засулич имеет в виду кружок студентов-саратовцев, существовавший в то время в Петербурге. В студенческих волнениях 1868—1869 г. принимало участие много студентов уроженцев Саратовской губернии. В связи с этими волнениями в марте 1869 г. подверглись аресту и были высланы на родину в Саратов студенты Горизонтов, Катин-Ярцев, Троицкий, Робустов, бр. Сафоновы.

102) В. И. Засулич имеет в виду «беспорядки», разыгравшиеся в марте 1869 г. О них см. примечание 47.

103) Определить общее количество активных участников студенческого движения 1868—1869 г.г. не представляется возможным. Однако, можно полагать, что цифра, приводимая В. И. Засулич, не далека от действительности. По официальному отчету, в одном университете из 950 числившихся в нем студентов в волнениях участвовало 150—180 человек.

104) В этом месте воспоминания В. И. прерываются. Далее следует не имеющий начала рассказ ее о разговоре, происходившем между нею и Нечаевым, в январе 1869 г. незадолго до отъезда его из Петербурга на квартире Томиловой, где в то время В. И. проживала.

105) Вряд ли можно думать, чтобы Нечаев придавал «катехизису» вполне реальное значение. Характерно, что он не счел нужным познакомить с этим документом людей, вовлеченных им в тайное общество «Народная Расправа». Еще более характерен отзыв, который мы находим в заявлении, поданном Нечаевым 10 января 1873 г. товарищу шефа жандармов графу Левашеву. В этом заявлении Нечаев писал: «...Можно удивляться бестактности г. Половцева (прокурора—**Б. К.**), который в своем обвинении представил нелепый катехизис, как образчик убеждений заговорщиков, не обращая внимания на то, что никто из этих заговорщиков не только не был знаком с содержанием катехизиса, но и не мог читать шифр, которым он был напечатан». (См. П. Е. Щеголев. Алексеевский равелин. М. 1929 г., стр. 198).

106) § 21 «Катехизиса революционера» делит женщин сообразно с полезностью их для революционного дела на три разряда: 1) «пустые, обессмысленные и бездушные», 2) «горячие, преданные, способные, но не наши, потому что не доработались еще до настоящего безфразного и фактического революционного понимания», и 3) «совсем наши, то есть вполне посвященные и принявшие всецело нашу программу». Относительно этого последнего разряда женщин «катехизис» далее говорит: «Они нам товарищи. Мы должны смотреть на них, как на драгоценнейшее сокровище наше, без помощи которых нам обойтись невозможно».

107) Стихотворение Рылеева «Исповедь Наливайки». В. И. Засулич цитирует это стихотворение не вполне точно.

108) Лавровская — известная оперная певица, пользовавшаяся большой популярностью в Петербурге. В 1869 г. на страницах петербургских газет происходила полемика по поводу того, что на одном спектакле Лавровская отказалась принять драгоценный браслет, поднесенный ей публикой. Суворин приветствовал этот поступок. «Г-жа Лавровская,—писал он («Недельные очерки и картинки» в № 67 «Спб. Вед.» за 1869 г.),—сделала первый шаг к тому, чтобы лишить меценатство опоры и сделать судьей талантов общественное мнение». Противоположную точку зрения развивал известный критик В. Стасов (см. его статью «Всем на суд» в № 72, «Спб. Вед.»). Он доказывал, что подарки, поднесенные публикой артистам, выражают общественную оценку деятельности артиста и потому он не имеет права отказываться от них.

109) Анна—сестра Нечаева, Анна Геннадьевна, жившая в то время у Томиловой.

110) Арестованная в апреле 1869 г. В. И. Засулич около двух лет провела в тюремном заключении. Суду по делу нечаевцев она предана не была, а подверглась административной высылке из Петербурга. Ряд лет ей пришлось провести в ссылке в различных захолустных городах северной России. Только в 1875 г. ей было дано разрешение переехать в Харьков для поступления на фельдшерские курсы. В том же году, переехав в Киев, она вступила в кружок «бунтарей», и принимала участие в хождении в народ. Летом 1877 г. в Петербурге в доме предварительного заключения произошла так называемая «боголюбовская» история. Градоначальник Трепов приказал подвергнуть телесному наказанию политического каторжника А. С. Емельянова (Боголюбова) за то, что он при встрече с Треповым во дворе не снял шапки. Эта жестокая расправа, известие о которой проникло на волю, вызвала негодование в революционных кругах. В. И. Засулич и ее подруга М. А. Коленкина решили отомстить Трепову. Они бросили жребий; он выпал на В. И. Тогда Коленкина решила принять на себя выполнение террористического акта над прокурором Желиховским, автором обвинительного акта по разбиравшемуся в 1877—1878 г.г. процессу 193. Коленкиной не удалось привести в исполнение своего намерения. Засулич же явилась 24 января 1878 г. на прием к Трепову, стреляла в него и нанесла тяжелую рану, от которой, он, однако, выздоровел. Засулич была тут же арестована. Покушение на Трепова и арест являются темой настоящего отрывка из воспоминаний В. И. Засулич.

111) «Маша»—М. А. Коленкина.

112) Газета «Северный Вестник» от 27 января 1878 г. сообщала: «Произведя выстрел, Засулич отошла в сторону и не обнаружила никакого желания скрыться. Вообще она отличалась изумительным хладнокровием».

113) Арестованная после покушения на Трепова В. И. Засулич была предана суду присяжных заседателей. Дело разбиралось 31 марта 1878 г. Засулич была оправдана. Как только приговор присяжных был об'явлен, правительство отдало распоряжение об аресте Засулич, однако ей удалось скрыться.

114) Во «Вперед», издававшемся П. Л. Лавровым, печатались корреспонденции Клеменца (в отделе «Что делается на родине»).

115) В. И. Засулич имеет в виду революционную народническую организацию, возникшую в Петербурге осенью 1876 г. Одним из основателей ее был М. А. Натансон. «Троглодитами» членов этой организации прозвал Клеменц за их чрезвычайную конспиративность.

116) «Начало» — подпольный журнал, издававшийся в 1878 г. в Петербурге группой литераторов, близких к революционному подполью того времени.

117) «Отечественные записки»—ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге. В 1869—1883 г.г. журнал этот, руководимый Н. А. Некрасовым, М. Е. Салтыковым, Н. К. Михайловским и Г. З. Елисеевым, являлся органом народнического направления и пользовался большим влиянием на мелкобуржуазную интеллигентицю.

118) Этой «высокопоставленной особой», по словам Л. Г. Дейча, была жена императора Александа III, тогда бывшего еще наследником,—Мария Федоровна.

119) По свидетелеьству Л. Г. Дейча, Клеменц не сочувствовал принципам организации «троглодитов», находя их чрезмерно централистическими в отличие от тех принципов, на которых был построен кружок чайковцев. «Да и к самым членам Северной организации, насколько я могу припомнить,—пишет Дейч,—Клеменц не питал тогда особенного расположения,' хотя, правда, он и не высказывал нам решительно ничего резко отрицательного по их адресу». (Л. Г. Дейч. Д. А. Клеменц. П., 1921. стр. 9). Недоверчивое отношение Клеменца к «троглодитам» засвидетельствовано его собственным письмом к Кравчинскому. «Сошелся я с троглодитами,—писал Клеменц,— и часто теперь проклинаю свою жизнь. Знаешь, они были очень хороши для Марка (Натансона) и вообще для всякого человека, желающего держать их в руках. Боже! Что за рутина, что за неподвижность мысли, казенщина какая-то!... Спорить приходится мне с ними много... Соображения о политическом такте, о задачах общих как то ничего не говорят им. Мы—работники будущего. В нем вся наша поддержка и утешение. Ход вещей за нас, интересы масс за нас—вот основание нашей власти. У них же надежды все сведены на их собственное стойло, на свои мандаты. Искусно придуманный шифр, ловля членов, новая конспирация—вот на что они уповают. Вопрос о народе, о поднятии инициативы среди его, вопрос о самодвижущейся партии—все это для них трын-трава! Очевидно, это люди, выросшие в своем углу и знать не желающие, что есть люди, кроме них. Мало они развиты—вот что! Они хороши, как первые члены, караульщики... но как представители партии—сомневаюсь».

120) Из опыта «хождения в народ» революционеры 70 годов вынесли убеждение, что крестьянство далеко не так восприимчиво к пропаганде социализма, как они до того предполагали, и что крестьянин гораздо более интересуется практическими вопросами жизни, нежели идеалами отдаленного будущего. Исходя из этих соображений, революционеры приходят к выводу о необходимости изменения тактики. От пропаганды социализма они решают перейти к агитации на почве непосредственных нужд и потребностей крестьянской массы. Это изменение задач революционной деятельности ярко оказалось на программе тайного общества «Земля и Воля» и на статьях, помещавшихся в его органе.

121) На оправдательный приговор по делу В. И. Засулич прокуратурой была принесена кассационная жалоба в Сенат, который поспешил отменить приговор.

122) В 1878 г. группа революционеров во главе с Як. Стефановичем, узнав о крестьянских волнениях, происходивших в Чигиринском уезде, Киевской губ., завела сношения с крестьянами. Составив подложную тайную грамоту от имени царя о передаче крестьянам помещечьей земли и выдав себя за царских комиссаров, Стефанович и его

товарищи организовали тайную дружину, в которую вошло около тысячи крестьян. Это так называемое «чигиринское дело» произвело громадное впечатление на революционеров-народников, увидевших в нем доказательство возможности создания революционных организаций в крестьянской среде. «В настоящее время,—писал Кравчинский в № 1 «Земли и Воли»,—мы имеем уже один факт первостепенной важности, знаменующий собою переход социалистов на почву чисто народную. Стефанович с друзьями в Чигиринской глуши создает первую в нашей революционной истории народную организацию, безусловно революционную и народно-социалистическую». При этом Кравчинский оговаривался, что «было бы крайней близорукостью и даже нарушением основного принципа народнической программы рекомендовать способ действия Стефановича для всех местностей и народностей русской земли».

123) Чигиринский заговор был открыт по неосторожности одного из участников, проболтавшегося в кабаке о своей принадлежности к тайной дружине. Кабатчик поспешил донести об этом исправнику.

124) Из дальнейшего видно, что этим эмигрантом был Эльсниц.

125) «Подпольная Россия» Кравчинского первоначально печаталась в одном итальянском журнале, а в 1882 г. вышла отдельным изданием на итальянском же языке.

126) Л. Г. Дейч в своих воспоминаниях о Клеменце рассказывает, что в этом шалэ, кроме Клеменца и Засулич, жили д-р И. И. Добровольский с женой, А. М. Эпштейн и ее подруга М. А. Тургенева. (См. Л. Г. Дейч. Д. Э. Клеменц. П., 1921 г., стр. 44).

127) «Сергей» — Кравчинский.

128) Это письмо Кравчинского, адресованное к Засулич, Клеменцу и Эпштейн, опубликовано в XIX т. «Красного Архива», 1926 г.

129) В. И. Засулич имеет в виду «Землю и Волю», в редактировании которой Клеменц принимал ближайшее участие.

130) Кравчинский и Рогачев отправились для пропаганды в деревню в 1873 г., т. е. на год раньше знаменитого массового «хождения в народ».

131) «Сказка о копейке» перепечатана в III т. собрания сочинений Кравчинского, изд. «Светоч».

132) М. П. Сажин в своих «Воспоминаниях» (М. 1925 г., стр. 99—100) рассказывает, что, живя летом 1875 г. в Париже, он узнал из газет о начавшемся в Герцеговине восстании против турок. Решив отправиться туда, чтобы принять участие в восстании, он обратился к Кравчинскому, который в это время жил также в Париже, с предложением присоединиться к нему. «Убеждать его ехать в Герцеговину,—пишет Сажин,—пришлось недолго: он прекрасно понимал, что русским революционерам не избежать открытой вооруженной борьбы с существующим порядком в очень недалеком будущем и что, следовательно, надо готовиться к ней. И вот теперь представляется случай, где можно поучиться многому».

133) «Община», бакунистский орган, выходивший в Женеве в 1878—1879 г.г.

134) Проживавшими в то время заграницей приятелями Кравчинского, о которых говорит В. И. Засулич, были, кроме нее самой, Д. А. Клеменц и его жена А. М. Эпштейн.

135) «Земля и Воля» начала выходить в октябре 1878 г. Кравчинский был одним из ее редакторов.

136) Насколько известно, в «Общине» Кравчинский поместил передовую статью в № 2, статью о Беневентском восстании в том же номере и статью о деле В. И. Засулич в № 3. В «Земле и Воле» Кравчинским написана передовая статья № 1.

137) Покушение на шефа жандармов Мезенцова было предрешено еще с весны 1878 г., когда стало известно, что по его докладу царь отклонил ходатайство сената о смягчении участи осужденных по процессу 193-х. Непосредственным же толчком к этому покушению послужило получение сообщения о казни Ковальского в Одессе.

138) 4 августа 1878 г. во время обычной прогулки Мезенцова в сопровождении полковника Макарова по Михайловской площади подошедший к нему Кравчинский нанес ему смертельный удар кинжалом в грудь. Полковник Макаров замахнулся на Кравчинского. Тогда сопровождавший последнего Баранников произвел выстрел. Воспользовавшись начавшейся суматохой, Кравчинский и Баранников вскочили на ожидавший их экипаж и успели благополучно скрыться. Убийство Мезенцова на улице среди белого дня и успешное бегство террористов произвели громадное впечатление на общество. В письме к своим друзьям, находившимся за границей, Кравчинский писал: «В первое время все точно оцепенело, просто не верили; до такой степени факт был неожиданный. Поражало не столько самое преступление, сколько его отчаянная дерзость, заставлявшая предполагать либо невероятную смелость, либо страшную силу организации злодейской шайки. Конечно, в публике были склонны видеть скорее последнее. Ничего не предполагавшее общество вдруг почувствовало, что у него под ногами какая то страшная подземная сила, стремящаяся все перевернуть. Впечатление было сходно с тем, какое было бы, если бы город узнал в одно прекрасное утро, что под него подведены подземные мины. Паника в административных сферах очень, говорят, сильная». («Красный Архив», 1926 г., т. XIX, стр. 200).

139) Кравчинскому было дано поручение изучить за границей приемы приготовления динамита.

140) Приглашение Кравчинского в Россию относится к тому времени, когда после арестов, последовавших за убийством Александра II, ряды «Народной Воли» сильно поредели.

141) Эта книга Кравчинского «Царь-чурбан, царь-цапля» в 1921 г. издана в русском переводе.

142) Общество друзей русской свободы ставило своею задачею пропаганду в Западной Европе симпатий к русскому революционному движению. В 1891—1900 г.г. это общество издавало газету «Frae Russia» («Свободная Россия»).

143) Фонд Вольной Русской Прессы был основан группой русских эмигрантов — участников революционного движения 70-х годов. Кроме Кравчинского, в эту группу входили Волховский, Шишко, Чайковский, Лазарев и др. Помимо ряда брошюр, Фонд издавал «Летучие Листки», выходившие в 1894—1899 г.г.

144) На русском языке роман «Андрей Кожухов» был издан впервые в Женеве в 1898 г.

145) В. И. Засулич имеет в виду повесть Кравчинского «Домик на Волге», изданную в 1896 г. в Женеве, и его же драму «Новообращенный», изданную в Женеве в 1897 г.

146) Вл. Дегаев приехал в Женеву в январе 1882 г.

147) Т. е. как убийцу Мезенцова.

148) В действительности Вл. Дегаеву в это время было около 20 лет.

149) «Сергей» — Кравчинский.

150) Вл. Дегаев признался Л. Г. Дейчу в своих сношениях с Судейкиным.

151) В. И. Засулич имеет в виду статью А. П. Корба о С. П. Дегаеве, напечатанную первоначально в № 4 «Былого» за 1906 г. и перепечатанную в ее книге «Народная Воля». (Воспоминания о 1870—1880 г.г., М. 1926 г., стр. 160—175). В то время, как В. И. Засулич рассказывает, что Вл. Дегаев дал согласие на предложение Судейкина под влиянием своих родных, А. П. Корба утверждает, что инициатива принадлежала ему самому. При этом А. П. Корба добавляет, что решение Вл. Дегаева было санкционировано единственным бывшим в то время в Петербурге членом Исполнительного Комитета «Народной Воли» Савелием Златопольским. «Златопольский, — пишет А. П. Корба, — не отклонил Володю от мысли поступить на службу к Судейкину. Он выяснил юноше всю трудность пути, на который зовет его Судейкин, указывал на возможность того, что его самоотречение останется без всяких результатов для партии и пройдет бесследно, но он не воспротивился решительным образом осуществлению проекта Судейкина, тогда как одного слова было бы достаточно, чтобы удержать юношу от ложного шага. Савелий Златопольский был поглощен идеей залечить рану, нанесенную партии арестом Клеточникова». А. П. Корба оговаривается, что «остальные члены Комитета порицали Златопольского за его затею с Володей Дегаевым». (Назв. сочин., стр. 165 и 170). Однако, надо иметь в виду, что перед своей поездкой за границу Вл. Дегаев заезжал в Москву, где виделся с другим членом Исполнительного Комитета Грачевским, чтобы получить адреса Дейча и Кравчинского. Одновременно с этим Я. Стефанович, который в это время также был членом Исполнительного Комитета, послал Л. Г. Дейчу письмо, в котором сообщал, что в скором времени в Женеву приедет молодой человек, которому Исполнительный Комитет просит помочь в выполнении возложенных на него очень важных поручений и с которым в то же время надо быть чрезвычайно осторожным. (Л. Г. Дейч. Провокаторы и террор. По личным воспоминаниям. Тула. 1927, стр. 7 и 12).

152) Вл. Дегаев был арестован в октябре 1881 г. в Петербурге; при аресте у него были найдены прокламации.

153) Под старшими В. И. Засулич имеет в виду брата Вл. Дегаева Сергея Петровича и его сестру, из которых первый был активным народовольцем, а вторая сочувствовала партии и оказывала ей кое-какие услуги.

154) Выпрашивая у Судейкина разрешение на поездку за границу, Вл. Дегаев мотивировал её желанием сблизиться с эмигрантами и, заручившись их рекомендациями, вернуться в Петербург, чтобы завязать более тесные сношения с революционерами.

155) В 1881 г. между «Народной Волей» и группой эмигрантов-чернопередельцев произошло сближение. Жизнь в Западной Европе, знакомство с ее политическим строем и рабочим движением привели к тому, что чернопередельцы стали признавать политическую свободу необходимой для дальнейшего развития России. Придя к такому заключению, они решили присоединиться к «Народной Воле». Як. Стефанович поехал в Россию и вошел в Исполнительный Комитет «Народной Воли». Л. Г Дейч собирался последовать его примеру. В. И. Засулич

вместе с П. Л. Лавровым стала во главе заграничного отделения Красного Креста «Народной Воли».

156) О том, при каких обстоятельствах и под влиянием каких побуждений Вл. Дегаев открылся Л. Г. Дейчу, см. подробный рассказ в назван. выше книге Л. Г. Дейча.

157) Среди современников Вл. Дегаева были люди, считавшие его не таким вполне безгрешным, как рассказывает В. И. Засулич. Ольга Любатович в своих воспоминаниях высказывает уверенность, что из-за Вл. Дегаева был сорван подготавливавшийся ею побег Н. А. Морозова. После того, как Любатович сказала Вл. Дегаеву, что ей известно о том, что Морозов содержится в доме предварительного заключения, последний немедленно был переведен в Петропавловскую крепость. (См. ее воспоминания «Далекое и недавнее». «Былое», 1906 г. № 6, стр. 144).

158) К этому месту воспоминаний В. И. Засулич, Л. Г. Дейч в «Былом» сделал следующее примечание. «Это не совсем так, — память, очевидно, изменила Вере Ивановне; Володя соглашался вернуться и вскоре действительно, уехал».

159) В письме к Як. Стефановичу от 2 февраля 1882 г. Л. Г. Дейч указывал, что Судейкин через свои сношения с Вл. Дегаевым желал проследить остатки Исполнительного Комитета «Народной Воли». Письмо это опубликовано в 3-м сборнике «Группа Освобождение Труда».

160) В. И. Засулич ошибается: Ошаниной в это время в Париже еще не было.

161) О свидании Судейкина с Вл. Дегаевым после его возвращения в Россию А. П. Корба рассказывает: «Судейкин встретил его довольно сурово. Он заявил ему, что до сих пор не видал результатов от своих стараний извлечь какую-нибудь пользу из деятельности своего молодого агента и от расходов, потраченных на него, что он ему дает еще некоторое время для исправления дурного мнения, которое он составил о его пригодности к «делу», но если образ действий его не изменится, то им придется расстаться. Володя обещал оправдать оказанное ему доверие... В мае Судейкин призвал его к себе, чтобы дать окончательную отставку. Он излил перед ним всю горечь своего разочарования и в заключение сообщил ему обязательства, которые в дальнейшем на него налагал. Для Володи наступил призывной возраст, и он должен был отбывать воинскую повинность. Судейкин потребовал, чтобы от отправился в один из полков, расположенных в Саратове. — «Устройтесь так, — сказал он ему на прощанье, — чтобы правительство никогда больше не слышало о вас». Это звучало угрозой, и Володя съежился под ее ударом... Он поторопился сдать юнкерский экзамен и выехал на службу в Саратов». (А. П. Корба. Назван. сочин., стр. 167).

162) Имеется ряд указаний на то, что еще весной 1882 г. Судейкин познакомился с Сергеем Дегаевым. Этим и объясняется его разрыв с Владимиром. Вступив в сношения с таким авторитетным и видным членом «Народной Воли», каким в то время был Сергей Дегаев, Судейкин перестал нуждаться в услугах Владимира. Мягкость, проявленная Судейкиным при разрыве с Владимиром, об'ясняется желанием Судейкина укрепить отношения, наладившиеся между ним и С. Дегаевым.

163) «Вольное Слово» — газета, выходившая с июня 1881 г. по май 1883 г. в Женеве при ближайшем участии М. П. Драгоманова и

об'явившая себя органом «Земского Союза». Официальным редактором «Вольного Слова» первоначально был А. П. Мальшинский, а с начала 1883 г. — Драгоманов. Программа «Вольного Слова» не выходила за рамки буржуазного демократизма. Одною из основных своих задач «Вольное Слово» ставило борьбу против политического террора. В 1912 — 1913 г.г. в нашей исторической литературе развернулась оживленная полемика относительно «Вольного Слова». В. Я. Богучарский в своей книге «Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х г.г. XIX века» (М. 1912 г.) высказал убеждение, что того «Земского Союза», от имени которого, якобы, издавалось «Вольное Слово», в действительности никогда не существовало и что газета, которой руководил Драгоманов, была органом Священной Дружины, тайной организации, действовавшей в 1881—1882 г.г. и ставившей своею задачею, конкурируя с официальной полицией, вести борьбу против революционного движения. Догадка Богучарского вызвала возражения со стороны Б. А. Кистяковского. В своей книге «Страницы прошлого» (М. 1912 г.) он пытался доказывать, что Земский Союз существовал, как не вполне оформленная организация либеральных земцев и что «Вольное Слово» действительно было органом этого Союза. Выход книг Богучарского и Кистяковского вызвал появление ряда статей по вопросам, затронутым названными авторами. Одною из таких статей была статья В. И. Засулич, напечатанная в № 6 «Современника» за 1913 г. Однако, эти статьи не внесли полной ясности в историю «Вольного Слова», и вопрос, поставленный Богучарским, продолжает оставаться спорным. Некоторую ясность в него внесло опубликование дневника ген. Смельского, заведывавшего в Священной Дружине тайным розыском («Голос Минувшего», 1916 г. №№ 1 — 6). В этом дневнике Смельский, между прочим, записал: «Граф Шувалов (организатор Священной Дружины) высказал, что издающееся в Женеве «Вольное Слово» есть издание нашей Священной Дружины, на что тратится значительная сумма». Это свидетельство Смельского могло внушать некоторые сомнения, поскольку было известно, что Смельский являлся в Дружине тайным агентом официальной полиции, стремившейся добиться закрытия Священной Дружины, как неприятного для нее конкурента, а потому старавшейся приписать Дружине конституционные стремления. Однако, опубликованная в 1927 г. в XXI т. «Красного Архива» «отчетная записка» Священной Дружины доказала, что Смельский был прав: «Вольное Слово» действительно было основано Священной Дружиной и должно было, по мысли его создателей, «поднять почвенные вопросы и стараться путем анализа и критики русского революционного движения обездолить беспочвенных народовольцев». К этому надо добавить, что сам Драгоманов не подозревал, в чьих руках он был игрушкой и искренно до конца своих дней был уверен в существовании Земского Союза. Таким образом в настоящее время спор между Богучарским и Кистяковским можно считать окончательно решеным в пользу первого из них. Однако, это не лишает большого интереса и исторического значения статью В. И. Засулич, содержащую в себе много ценных указаний по вопросу об отношении революционной эмиграции начала 80-х годов к Драгоманову и «Вольному Слову».

164) В дополнение к своей книге «Страницы прошлого» Кистяковский опубликовал в № 11 «Русской Мысли» за 1912 г. статью «Орган Земского Союза «Вольное Слово» и легенда о нем». Эту статью и имеет в виду В. И. Засулич.

165) Статья А. П. Прибылевой-Корба перепечатана в ее книге: «Народная Воля». Воспоминания о 1870—1880-х г.г., М. 1926 г.

166) В. Богучарский, подвергнув сообщение А. П. Прибылевой критической проверке, пришел к вполне правильному выводу, что ее рассказ ни к «Вольному Слову», ни к Мальшинскому не имеет никакого отношения. Что касается Мальшинского, то он появился за границей только после 1 марта 1881 года.

167) В. И. Засулич имеет в виду Я. Стефановича. Сообщение о том, что Мальшинский составил в 1879 г. для III отделения секретный «Обзор социально-революционного движения в России», появлось еще в 1880 г. в № 4 «Народной Воли».

168) По поводу своего разговора с В. И. Засулич Драгоманов писал П. Б. Аксельроду 9 января 1882 г.: «Я попросил сегодня В. И. передать им [народовольцам. **Б. К.**], что я, по размышлению зрелому, решился продолжать писать в «В. Сл.». Кроме того, я просил передать им, чтобы они обратили внимание, с своей стороны, на начинающееся земское движение и издали манифест в роде первого послания к царю [изданное после убийства Александра II письмо Исполнительного Комитета «Народной Воли», к Александру III с требованием созыва народных представителей. **Б. К.**] с указанием на то, что вот, мол, не мы одни требуем земского собора, а и другие. В видах раздувания земского движения я и остаюсь в «В. Сл.». (Из архива П. Б. Аксельрода. Берлин, 1924 г., стр. 58). Мальшинский не скрывал того, что им был составлен «Обзор» напечатанный III отделением в 1879 г. В брошюре «Не знаю к кому. Открытое письмо бывшего редактора «Вольного Слова», выпущенной им в 1883 г. в Женеве, Мальшинский рассказывал, между прочим, о вечере, устроенном им в начале 1882 г. для сотрудников «Вольного Слова». На этом вечере, в присутствии человек десяти, в том числе П. Б. Аксельрода, Мальшинский в разговоре коснулся своих отношений с III отделением и рассказал, что он не служил в этом учреждении, а «только работал в здании этого отделения у Цепного Моста», используя для своего труда архив III отделения. Что касается «Обзора», то он, по словам Мальшинского, предназначался не для III отделения, а для выяснения Александру II причин, вызывающих социально-революционное движение, без устранения которых борьба с этим движением невозможна. Драгоманов и другие сотрудники «Вольного Слова» искренне верили в правдивость этих объяснений Мальшинского.

169) «Общее Дело» — ежемесячная газета, выходившая в Женеве с 1877 по 1890 г. под редакцией А. Х. Христофорова при ближайшем участии доктора Н. Белоголового и В. Зайцева. Газета эта являлась органом политического радикализма и в революционных кругах того времени влиянием не пользовалась. В сентябре 1881 г. в № 44 «Общего Дела» было напечатано «Письмо из Женевы», автор которого, отмечая выход нового русского заграничного органа «Вольного Слова» и намекая на связь его с министром внутренних дел гр. Игнатьевым, задавал «Вольному Слову» вопрос, каково его мнение о гр. Игнатьеве, как о министре внутренних дел. На этот вопрос «Вольное Слово» дало весьма уклончивый ответ... «деятельность министра внутренних дел настолько обширна, что не может быть охарактеризована в двух словах» (см. № 7 «Вольного Слова», статья «Недоумок из «Общего Дела»). В № 45 «Общее Дело» указано на связь «Вольного Слова» с гр. Игнатьевым в более ясной форме: «Рассматривая некоторые существенные пункты публицистической деятельности «Вольного Сло-

ва», мы приходим к загадкам, допускающим только один способ разгадывания, получаем что-то в роде уравнений с одним неизвестным, которые удовлетворительно разрешаются только в таком случае, если мы вместо неизвестного X подставим графа Игнатьева». Наконец, в № 48 «Общее Дело» раскрыло фамилию редактора «Вольного Слова» Мальшинского, как агента III отделения.

170) В. И. Засулич вполне права: единодушной «травли» «Вольного Слова» со стороны эмиграции не было. Это видно хотя бы из письма такого нерасположенного к Драгоманову человека, как Л. Г. Дейч, посланного им 2 февраля 1882 г. Як. Стефановичу. Л. Г. Дейч писал про «Вольное Слово»: «Положительно нет никаких оснований верить распускаемым слухам, что это орган лиги [Священной Дружины. **Б. К.**] или чего-либо подобного; Сергей [Кравчинский. **Б. К.**] глубоко убежден, что это неверно, мы также. Очень может быть, что правительство само распускает этот слух, чтобы отвратить всех от него, так как эта первая серьезная попытка земцев-либералов издавать за границею антиправительственную газету. Было бы очень грустно, если бы сами радикалы оплевали и (невольно) оклеветали затею людей честных и, во всяком случае, возмущающихся против правительства; это ему, правительству вполне на руку, по правилу «divide et impera» в чем она, может быть, уже и успевает» (Сборник «Группа Освобождение Труда» № 3, стр. 172—173). С доверием отнесся к Мальшинскому и П. Б. Аксельрод, долгое время сотрудничавший в газете Мальшинского, которому он был рекомендован П. Л. Лавровым, и ряд других эмигрантов, участвовавших в «Вольном Слове»: И. Присецкий, Н. Жебунев, Н. И. Зибер и др.

171) Эмигрантское общество — организация, преследовавшая цели товарищеской взаимопомощи и об'единявшая русских эмигрантов без различия направлений. Общество это существовало с конца 70-х годов. До средины 80-х годов во главе его Жуковский и Жеманов.

172) В передовой статье № 8 «Вольного Слова» Мальшинский писал: «Укрывшиеся от преследования виновники взрывов полотна Московско-Курской железной дороги и кордегардии в Зимнем дворце не могут быть рассматриваемы, как цареубийцы, но лишь как виновники различных, по своим последствиям преступных деяний, предусмотренных общими уголовными законами, ограждающими общественную безопасность».

173) В. И. Засулич имеет в виду брошюру Алисова «Вольное Слово», изданную в Лондоне в 1881 г.

174) В № 45 «Общего Дела» в статье «Теоретические основания суда над шпионами» В. А. Зайцев писал: «Всякий не только революционер, но просто честный человек, заподозрив лицо в шпионстве, не только имеет право, но и прямую обязанность высказать это подозрение, хотя бы с риском обвинить невинного. Опасность повредить одному лицу совершенно исчезает перед риском сделаться сообщником гибели сотни людей, составляющих «соль земли».

175) В 1882 г. Черкезов опубликовал в Женеве чрезвычайно резкий памфлет «Драгоманов из Гадяча в борьбе с русскими революционерами».

176) «Правда» — газета, выходившая в Женеве с августа 1882 по февраль 1883 г. под редакцией И. Климова. Газета эта отличалась архиреволюционными и кровожадными выпадами против Александра III и его правительства, имевшими провокационный характер. Издавалась она на средства Священной Дружины. «Правде» была поставлена за-

дача «утрировать народовольческую программу, доводить ее до очевидной нелепости даже для политически отуманенных лиц» («Красный Архив» т. XXI, стр. 210). Однако, эта задача достигнута не была, так как эмигранты очень скоро разобрались в провокационном характере «Правды».

177) В своей статье Б. А. Кистяковский приводил полностью статью, напечатанную в № 5 «Правды» от 1 октября 1882 г. («Русская Мысль», 1912, № 11, стр. 64—65). В этой статье говорилось о разлагающем влиянии, оказываемом «Вольным Словом» с его проповедью конституции на революционную молодежь. Пародируя народнический взгляд на значение политической свободы и конституционного правления, «Правда» писала: «Для нас не может подлежать сомнению, что конструкция послужит лишь к примирению буржуазно-либеральных слоев общества с петербургским царизмом, к сплочению всего нерабочего класса в ущерб рабочим и к отдалению назревающей революции на неопределенное время. Поэтому то констатуционализм должен быть признан ядом для нашей интеллигентной молодежи. Поэтому рука, подсыпающая эту отраву, должна быть признана рукой Иуды предателя».

178) В письме к доктору Нивинскому (бывшему агентом Священной Дружины) П. Л. Лавров писал о «Правде», называя ее «ничтожной газетой»: «Ни я, ни мои друзья не придаем ей никакого значения, и сведений от нас она никогда не получала и получить не может». Драгоманов в своих воспоминаниях о переговорах Исполнительного Комитета «Народной Воли» с Священной Дружиной, опубликованных в № 13 заграничного «Былого» писал, что среди эмигрантов, косо смотревших на «Правду», с самого ее основания шли разговоры о том, чтобы отречься от нее.

179) В. И. Засулич имеет в виду следующее сообщение, появившееся в иностранных газетах: «Русские политические эмигранты, проживающие в Женеве, собравшись 21 ноября 1882 г. в количестве 26 человек, единогласно постановили заявить: что выходящая в Женеве русская газета «Правда» не есть их орган; что не есть он также, насколько им известно, орган какой-либо группы русских социалистов в России или за границей, что идеи, провозглашаемые этой газетой, не разделяются русской эмиграцией, что, вследствие этого, эта эмиграция вообще не отвечает за содержание статей, помещенных или имеющих быть помещенными в этом издании». Это заявление от имени собравшихся было подписано Г. В. Плехановым, Н. Лопатиным, Н. И. Жуковским и Зелинским.

180) В. И. Засулич имеет в виду «Открытое письмо», опубликованное ею, П. Аксельродом, И. Бохановским, Л. Дейчем и Г. В. Плехановым. Содержание его ясно из тех выдержек, которые В. И. Засулич приводит ниже. Опубликование этого письма было вызвано статьей Драгоманова «Обязательность энергии», напечатанной в № 34 «Вольного Слова». В этой статье Драгоманов в самой резкой форме нападал на Исполнительный Комитет «Народной Воли», обвиняя его в том, что он своею деятельностью способствовал развитию в революционной среде интриг и подхалимства, мелочной грызни, взаимного обмана и т. д. «Открытое письмо Драгоманову» в настоящее время перепечатано полностью в сборнике «Группа Освобождение Труда», № 5, 1926 г., стр. 85—87.

181) В «Календаре Народной Воли», вышедшем весной 1883 г, говорилось о подозрениях, возникших относительно «Вольного Слова»

среди эмигрантов, и указывалось, что, хотя эти обвинения и не были твердо обоснованы, поведение «Вольного Слова», не пожелавшего очиститься от них, невольно внушает подозрение. Далее говорилось о борьбе, которую «Вольное Слово» ведет против социально-революционной партии. «Это не только расхождение в принципах, а прямо борьба, совершенно непонятная в настоящее время, когда социалисты- революционеры точно также добиваются политической свободы и составляют, без сомнения, самых опасных для самодержавия противников. Между тем в борьбе против революционеров «Вольное Слово» проявляет гораздо более энергии, чем в борьбе против правительства. Оно, конечно, критикует действия правительства и проводит конституционные идеи, но крайне бесцветно. Выступая же в качестве противника социалистов-революционеров, «Вольное Слово» действует чрезвычайно ярко, не довольствуясь критикой их деятельности, нередко старается ронять репутацию социально-революционной партии совершенно несправедливыми и голословными обвинениями». Вслед за этим было перепечатано с некоторыми сокращениями «Открытое письмо Драгоманову» бывших чернопередельцев.

182) Только через год после опубликования «Открытого письма» Драгоманов отозвался на него. В опубликованной в № 60—61 «Вольного Слова» рецензии на «Календарь Народной Воли», Драгоманов отметил, что в «Календаре» перепечатан «заклинательный канон блаженных чернопередельцев и чудотворцев чигиринских», и объяснил, что «Вольное Слово» оставило «Открытое письмо» без ответа, «как потому, что претензии этого письма вообще не литературного характера, так и для собственной выгоды лиц, его подписавших».

183) Эта статья называлась «Сыскная политика полковника Судейкина». (См. Ь. Кистяковский. Страницы прошлого, стр. 129—131).

184) В. И. Засулич была вполне права, заподазривая подлинность этого «циркуляра». В статье Hes «Из дел давно минувших дней. Правда о «Правде», напечатанной в № 141 газета «Руская Молва» за 1913 г., приведены весьма убедительные соображения Л. П. Меньщикова относительно подложности этого циркуляра. Меньщиков высказывает весьма вероятное предположение, что этот циркуляр был произведением самого Мальшинского, которому хотелось выдвигавшиеся против него обвинения в связи с департаментом полиции обьяснить происками Судейкина. Кстати отметим, что в тексте «циркуляра», опубликованном в «Вольном Слове», 3-й пункт, кроме первой его части, приведенной В. И. Засулич, имел еще и вторую, гласившую: «вместе с тем дискредитировать революционные прокламации и разные органы печати, придавая им значение агентурной провокационной работы. Этой частью «циркуляра» Мальшинский стремился парализовать подозрения, высказывавшиеся в революционной среде относительно «Вольного Слова».

185) То, что было непонятно для В. И. Засулич, вполне ясно для нас теперь, когда нам известно, что за спиною Мальшинского стояла такая видная фигура петербургского придворного мира, как гр. П. П. Шувалов, с которым Драгоманов поддерживал переписку и имел личные свидания во время заграничных поездок Шувалова.

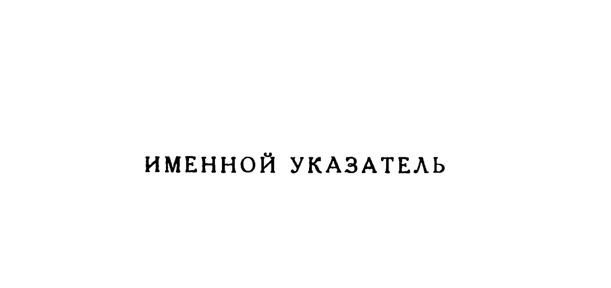
186) Из письма, написанного Драгомановым в 1885 г. какому то «петербуржцу», видно, что «неприятное известие, о котором упоминает Засулич, касалось «весьма неблестящего поведения Ст[ефанови]ча в тюрьме». (См. М. Драгоманов. Листи до Ів. Франка іінших. Львів, 1906 г. стр. 131—139). В. И. Засулич до конца жизни не соглашалась

поверить в предательство Стефановича. Однако, в настоящее время, после опубликования ряда архивных материалов, предательство Стефановича стоит вне сомнений.

187) В. И. Засулич не ошиблась в имени лица, о котором ей рассказывали. Им действительно был гр. П. П. Шувалов.

188) К этому месту статьи В. И Засулич редакцией «Современника» или—точнее—В. Я. Богучарским было сделано следующее примечание:

«Молодой человек, с которым беседовала тогда В. И. Засулич, был, несомненно, покойный М. Ю. Гольдштейн. Он давал уроки химии, именно гр. Шувалову. Об этом факте, т. е. об уроках химии, которые давал Гольдштейн Шувалову, имеется сведение и в воспоминаниях Н. К. Михайловского, где Гольдштейн обозначен буквою Г., а Шувалов полным именем. (См. «Из воспоминаний о В. Н. Фигнер». Полное собр. соч. Н. К. Михайловского, т. X, стр. 53); о том же известно, со слов Гольдштейна, нескольким старым петербургским литераторам и поныне здравствующим. Кроме того, В. Я. Богучарским получено недавно от А. А. Фрейденберга письмо, в котором говорится: «В течение многих лет я был близко знаком с химиком М. Ю. Гольдштейном. Со слов покойного М. Ю. мне известно, что он был приглашен к гр. П. П. Шувалову в качестве преподавателя химии, которую тот намеревался изучать, живя в уединении на своей даче, если не ошибаюсь, на Каменном Острове. М. Ю. передавал мне тогда, что гр. Шувалов безвыездно живет на этой даче, как опальный, что его какие-то сферы признали или хотели признать душевно больным... М. Ю. ездил ежедневно по вечерам к опальному графу, устраивая ему химическую лабораторию и читая ему лекции по химии. По словам М. Ю., гр. Шувалов с большим интересом и вниманием относился к этим знаниям, и хотя проявлял большую сдержанность в разговорах, но время от времени, в особенности, ближе познакомившись с М. Ю., вел с ним беседы на политические темы; при этом гр. Шувалов обнаруживал вполне ясный и здравый ум, отличался в своих суждениях большою вдумчивостью и тонким пониманием условий тогдашнего политического быта России. Во время одной из таких бесед гр. Шувалов познакомил М. Ю. с проектом составленной им конституции. По просьбе М. Ю., гр. Шувалов дал ему список с этой конституции». (Далее идет указание, где именно список этот и теперь может находиться). Таким образом в воспоминаниях В. И. Засулич речь идет без всякого сомнения о М. Ю. Гольдштейн и гр. П. П. Шувалове».



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

слан в Тобольск на 5 лет. Умер в Москве в 1916 г.—128.

Веймар Орест Эдуардович, родился в 1845 г. Известный врач, оказывавший в 70-х годах содействие революционерам. Арестован в 1879 г. в связи с покушением Соловьева и Александра II и военно-окружным судом приговорен к каторге на 10 лет. Каторгу отбывал на Каре, где и умер в 1885 г.—71, 73, 80.

Веймар, Эдуард Эдуардович, брат О. Э. Веймара.—73—75.

Виктор Эммануил I (1820—1878), первый король об'единенной Италии.—87.

Волховский Феликс Вадимович, дворянин, род. в 1864 г., участник революционного движения 60-х и последующих годов. В 1869 г. состоял во главе московского кружка, враждебно относившегося к Нечаеву; тогда же был арестован по нечаевскому делу, но судом оправдан. В начале 70-х годов член одесского отделения кружка чайковцев. Привлекался по делу о пропаганде и по процессу 193-х был приговорен к ссылке в Тобольскую губ. В 1890 г. бежал за границу. Позднее социалист-революционер. Умер в 1914 г.—29, 30, 122, 126, 134.

Вольтер Мари Франсуа (1694—1778), известный французский поэт и философ, один из крупнейших «просветителей» XVIII столетия.—11.

Воскресенский Дмитрий Алексеевич, сын дьячка. В 1864 г. участвовал в социалистическом кружке, организованном в Саратове А. Х. Христофоровым. Переехав в Москву, примкнул к ишутинскому кружку. В 1866 г. был арестован по каракозовскому делу и приговорен к заключению в крепости на 8 мес. В 1867 г. организовал вместе с каракозовцами Сергиевским и Полумордвиновым в Петербурге коммуну «Сморгонская академия». В 1869 г. привлекался к дознанию о попытке освободить Чернышевского.—118.

Герцен Александр Иванович (1812—1870), знаменитый публицист.—62.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852), знаменитый писатель.—28.

Гольдштейн Михаил Юрьевич (1853—1905), известный химик, приват-доцент Петербургского университета.—142.

Гольштейн Владимир Августович, студент Московского университета, исключенный в 1869 г. за участие в «полунинской истории». В 1870 г. привлекался по нечаевскому делу. В 1871 г. скрылся за границу. В 70-х годах бакунист, член редакции газеты «Работник». Умер в Париже в 1917 г.—128.

Горизонтов, Иван Парфенович, родился в 1847 г., студент Петербургского университета, участник студенческого движения 1868—1869 г.г. В марте 1869 г. был выслан на родину в Саратов. Впоследствии—журналист. Умер в 1913 г.—130.

Грачевский Михаил Федорович, родился в 1849 г., участник революционного движения 70-х годов, член Исполнительного Комитета «Народной Воли». Арестован в 1882 г. и приговорен к бессрочной каторге. Покончил с собой в Шлиссельбурге в 1887 г.—96, 135.

Грибоедов Николай Алексеевич, родился в 1842 г. В начале 70-х годов член кружка чайковцев. С середины 70-х годов отошел от участия в революционном движении, продолжая, однако, оказывать содействие революционерам. Умер в Петербурге в 1901 г.—73, 75, 76.

Григорьев, Прокопий Васильевич, род. в 1844 г., дворянин. Арестован в 1874 г. за близость к пропагандистам. В том же году скрылся за границу, где участво-

вал в «Набате» Ткачева, «Правде», и др. заграничных изданиях. Издал книжку революционных стихов.—105, 106.

Дантон, Жорж Жак (1759—1794), знаменитый деятель французской революции.—76.

Дегаев Владимир Петрович, родился около 1861 г., сын статского советника. Обучался в Морском корпусе, откуда удален за неблагонадежность. В октябре 1881 г. арестован с прокламациями, но вскоре освобожден после того, как он согласился войти в сношения с Судейкиным. После разрыва в 1882 г. с Судейкиным отбывал воинскую повинность в Саратове, где вел пропаганду среди военных. В декабре 1883 г. скрылся за границу; жил в Соединенных Штатах. В 1902 г., изъявив раскаяние, получил высочайшее разрешение на возвращение в Россию. Однако, повидимому, этим разрешением не воспользовался. Позднее под фамилией «Полевой» состоял секретарем русского консульства в Нью-Иорке.—93, 98, 101, 134, 136.

Дегаев Сергей Петрович, артиллерийский офицер. В 1880 г. вступил в «Народную Волю» и был членом ее центральной военной организации и Исполнительного Комитета. Вступил в 1882 г. в соглашение с Судейкиным, выдал ему ряд крупных деятелей партии. Летом 1883 г., поехав за границу, сознался в своем предательстве Тихомирову и Ошаниной и дал обещание убить Судейкина. По возвращении в Россию организовал в декабре 1883 г. убийство Судейкина, после чего скрылся за границу.—109, 135.

Дейч, Лев Григорьевич, родился в 1855 г., участник революционного движения 70-х годов, один из организаторов Чигиринского дела и учредитель группы «Черный Передел». В 1883 г. один из организаторов группы «Освобождение Труда». В 1884 г. арестован в Германии, выдан русскому правительству и приговорен к каторге на 13 л. В 1901 г. бежал из Сибири за границу, где примкнул к меньшевикам. Позднее член Плехановской группы «Единство».—93, 94, 96, 97, 108, 115, 118, 124, 132, 133, 135, 136, 139, 140.

Дементьева, Александра Дмитриевна, по мужу Ткачева, родилась в 1850 г. В 1869 г. арестована за напечатание в принадлежавшей ей типографии прокламации Ткачева «К обществу». В 1871 г. по делу нечаевцев петербургской судебной палатой приговорена к тюремному заключению на 4 месяца, по отбытии которого выслана в Калугу. В 1874 г. после бегства Ткачева за границу получила разрешение выехать из России. Вернулась в Россию в 1903 г. Умерла в Воронеже в 1922 г.—89, 119, 121.

Державин Гавриил Романович (1743—1816), известный поэт XVIII века.—114.

Диттенпрейс, братья Е. Х. Томиловой.—121.

Добровольский Иван Иванович, родился в 1849 г., врач. Участник революционного движения 70-х годов. В 1878 г. по процессу 193-х приговорен к каторжным работам на 10 лет; в том же году бежал за границу, где оставался до 1905 года, сотрудничая в заграничной русской прессе и в легальных изданиях.—133.

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861), известный критик.—59.

Долгов Николай Степанович, студент Петровской академии, участник тайного общества «Народная расправа». Арестован в 1870 г., в 1871 г. приговорен к тюремному заключению на 1 г., после чего выслан в г. Мезень.—30, 32, 34—39, 48, 55, 122, 124.

Драгоманов Михаил Петрович, родился в 1841 г., историк,

ремному заключению на 8 месяцев; в 1867—1868 гг. участник коммуны—«Сморгонская академия».—118

Сигида Надежда Константиновна, род. в 1862 г., участница революционного движения 80-х годов; в 1886 г. арестована при захвате народовольческой типографии и приговорена к 8 годам каторги, которую отбывала на Каре. В 1889 г. была подвергнута телесному наказанию за пощечину, данную коменданту Карийской тюрьмы, после чего отравилась.—91.

Сидорацкий Григорий Петрович, род в 1857 г., участник революционного движения 70-х гг, привлекался по процессу 50-ти и был приговорен к 6-недельному заключению 31 марта 1878 г. во время демонстрации, после оправдания В. И. Засулич, Сидорацкий был найден на улице мертвым; по одним сведениям он покончил с собою, по другим был убит жандармами.—105, 106.

Скипский Виктор Павлович, приказчик книжного магазина Черкесова в Москве; в 1868—1869 гг. участник кружка Ф. В. Волховского; в 1869 г — член тайного общества «Народная Расправа». В 1869 г. арестован; в 1871 г. приговорен к тюремному заключению на 2 года —49.

Смирнов Валериан Николаевич, род. в 1850 г., студент Московского университета, принимал участие в «полунинской истории», за что был исключен из университета и выслан во Владимирскую губ. В 1870 г. был привлечен к нечаевскому делу; в 1871 г. бежал за границу. В 70-х годах сотрудник Лаврова по изданию «Вперед», позднее врач, умер в 1900 г.—128.

Соловьев Александр Константинович, род в 1846 г., участник революционного движения 70-х годов; 2 апреля 1879 г. покушался на Александра II; 28 мая того же года был казнен.—73, 74.

Стасов Владимир Васильевич (1824 — 1906), художественный критик —131.

Степняк—псевдоним Кравчинского С. М. (см)

Стефанович Яков Васильевич (1853—1915), видный деятель революционного движения 70-х годов, организатор крестьянского восстания в Чигиринском уезде. Стефанович был одним из организаторов «Черного Передела», но вскоре, после возникновения этой организации, эмигрировал. В 1881 г. возвратился в Россию и примкнул к «Народной Воле» В 1882 г. Стефанович был арестован и приговорен к каторжным работам. По предложению директора департамента полиции В. К. Плеве составил записку о положении русской эмиграции. Каторгу отбывал в Каре.—76, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 141, 142

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912), публицист; в конце 70-х годов сотрудник умеренно-либеральной газеты «С.-Петербургские Ведомости»; позднее редактор реакционного органа «Новое Время».—62, 131.

Судейкин Григорий Порфирович, инспектор секретной полиции, убит 16 декабря 1883 г. на квартире С. Дегаева народовольцами Стародворским и Конашевским — 94—98, 101, 108—111, 135, 136, 141.

Тихомиров Лев Александрович (1852—1923), видный деятель революционного движения 70-х годов, член Исполнительного Комитета «Народной Воли»; в 1883 г. эмигрировал; позднее ренегат, сотрудник «Московских Ведомостей».—98, 107.

Ткачев Петр Никитич (1844—1886), известный революционер 60-х и 70-х годов, сотрудник «Русского Слова» и «Дела»; в 1873 г бежал из ссылки за гра-

бежал за границу. Впоследствии видный деятель международного анархистского движения. Умер в Лондоне в 1925 г. — 49, 58, 104-106, 116-118, 139.

Черкесов Александр Александрович, дворянин, владелец книжных магазинов и библиотек в Петербурге и в Москве. В 1862 г. привлекался за сношение с эмиграцией. В 1869 г. арестован в связи с нечаевским делом, но суду предан не был.—29, 55.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889), знаменитый теоретик социализма и публицист.—18, 58, 59, 117, 118, 120.

Чешимин-Ветринский Василий Евграфович (1866—1924), историк литературы.—117.

Чубаров Сергей Федорович, дворянин, родился в 1845 г. участвовал в студенческом движении 1868—1869 гг. В 1869 г. эмигрировал в Америку. В начале 70-х годов, возвратившись в Россию, примкнул к киевскому революционному кружку и принимал участие в подготовке Чигиринского дела. В 1878 г. арестован. 1879 г. приговорен одесским судом к смертной казни. Казнен 10 августа 1879 г.—28.

Чудновский Соломон Львович (1851—1912), участник революционного движения 70-х годов, член одесского отделения кружка чайковцев; в 1874 г. арестован и по процессу 193-х приговорен к ссылке в Тобольскую губернию—118, 119.

Шаганов Вячеслав Николаевич, сын купца, родился в 1839 г. Участник ишутинского кружка. Арестован в 1866 г. в связи с каракозовским делом и приговорен к каторжным работам на 6 лет. Каторгу отбывал на Александровском заводе. С 1872 г. был на поселении первоначально в Вилюйском округе, а затем в Якутском. В 1884 г. возвратился в Европейскую Россию. Умер в 1902 г.—117.

Шиллер Фридрих (1759-1805), знаменитый немецкий поэт.—117.

Шишко, Леонид Эммануилович, род. в 1854 г., участник кружка чайковцев; арестован в 1874 г. и по процессу 193-х приговорен к каторге, которую отбывал на Каре. В 1889 г. бежал за границу. Позднее социалист - революционер. Умер в 1910 г.—134.

Шувалов, гр. Павел Петрович (1874—1902), полковник, флигель-ад'ютант организатор «Священной Дружины», автор конституционных проектов, составленных в 1881 и 1882 гг.; после закрытия «Священной Дружины» находился в опале.—111, 137, 141, 142.

Щедрин — см. Салтыков, М. Е.

Эльсниц, Александр Леонтьевич, дворянин, род. в 1894 г.; состоя студентом Московского университета, участвовал в студенческих волнениях 1869 г., за что был выслан в Ярославскую губ., в том же году за причастность к «Народной Расправе» был привлечен по нечаевскому делу; в 1871 г. бежал за границу, где примкнул к бакунистам; в 1875-1876 гг. участвовал в редакции газеты «Работник». Позднее отошел от революционной деятельности, умер в 1907 г.—78, 79, 103, 128, 133.

Эпштейн Анна Михайловна, жена Клеменца, участница кружка чайковцев и еврейского кружка в Вильно в 1871-1872 гг. В марте 1877 г., при рассмотрении «процесса 50-ти» была арестована в сенате, куда она проникла по фальшивому входному билету. Отданная под надзор полиции, Эпштейн скрылась за границу, где работала по переправке революционной литературы и являлась посредницей в переписке эмигрантов с революционерами, находившимися в России. Умерла в 1895 г. в Вене—80-82, 85, 93, 94, 133.

Яковлев, учитель Андреевского приходского училища в Петербурге.—58, 59, 130.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Цена 1 р. 25 к.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

1) Правлению Издательства политкаторжан—Москва ГПС, 10, Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-73.

2) Магазину Издательства политкаторжан „МАЯК“— Москва, Центр, Петровка, 7; тел. 4-18-12 и 3-63-20.